

Сергей Самсонов

СОКОЛИНЫЙ РУБЕЖ



Сергей Самсонов
Соколиный рубеж

«РИПОЛ Классик»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Самсонов С. А.

Соколиный рубеж / С. А. Самсонов — «РИПОЛ Классик»,
2016

Великая Отечественная. Красные соколы и матерые асы люфтваффе каждодневно решают, кто будет господствовать в воздухе – и ходить по земле. Счет взаимных потерь идет на тысячи подбитых самолетов и убитых пилотов. Но у Григория Зворыгина и Германа Борха – свой счет. Свое противоборство. Своя цена господства, жизни и свободы. И одна на двоих «красота боевого полета».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Самсонов С. А., 2016
© РИПОЛ Классик, 2016

Содержание

Часть первая	9
Часть вторая	65
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Сергей Самсонов

Соколиный рубеж

© Сергей Самсонов, текст, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016

* * *

Естество человека выворачивалось наизнанку. Чем светлее, торжественней, чище становилось вверху, тем сильнее сгущалась под ребрами тошнотворная муть. Кабы заволокло эту синь табунами хоть белых поярковых туч, затянуло свинцовыми хмарами, боженька. Сжался только сегодня – избавь от поганных, самолетного воя, который в человеческом теле становится всем, места не оставляя внутри ни молитве, ни воплю. Пречистая владычица Святая Богородица и Господь наш Иисус Христос. Благослови, Господи, раба божьего и товарищей моих, кои со мной есть, облаком обволоки, небесным, святым, каменным Твоим градом огради.

Молились все две тысячи сто восемьдесят душ 524-го стрелкового полка, который исполнял веление Родины, изложенное в боевом приказе № 20 так: *«Штадив 112 Красный Дон 10.10 9.8.42. Карта 100 000. Сосредоточиться в районе Первомайский и привести себя в порядок. Прочно оборонять восточный берег р. Дон на участке: ж/д мост – р. Донская Царица. Ни шагу назад!»* Умещенные штабом дивизии в микроскопический раздвиг штабного циркуля и оборот колесика курвиметра пензяки и самарцы призыва 41-го года с горячечным остервенением и спешкой колупали пропеченную зноем до каменной твердости землю, отрывая окопы и стрелковые гнезда-ячейки в человеческий рост, видя перед собою не оперативные карты, а саму эту желто-белесую, равнодушную, горькую твердь. От конца и до края устало полегли травы, и несметные оспины сусличьих норок, и текучее марево там, где высокое синее небо сходилось с холмами.

Для пехоты война первым делом и есть земляная работа: только в землю целинную заглубился по маковку – брось, отходи, закрепляйся на новом рубеже обороны. Снова, значит, окапывайся. Это сколько же сотен пудов надо перелопатить, чтобы хоть один малый осколок в эту землю вцепился, а не в братьев твоих и тебя самого. Да и что все радения их под обвалом чугунных поленьев с воздушного воя, когда под тобою всю землю выворачивает требухой наружу?

На марше еще замечали крестьянские дети Котляров и Дикань смугло-желтые волны нескошенной зрелой пшеницы и зернистые масляно-черные диски подсолнухов, оплетенных по черствой земле повитью, и жалели о том, что никто те подсолнухи не прополос, и о том, что сгорит на корню переспелое жито. А теперь и последние мысли о прежнем житье были выпарены из рассудка в захватчивой землеройной работе и тошном ожидании новой бомбежки. И пока было слышно только звяканье отполированных до зеркального блеска по режущей кромке штыков, только хряст каменистой земли, только сусличий посвист вдаль, раскалялась и билась чугуною гирькой в головы у пехоты единая мысль: почему это небо над ними не покров от врага, а прореха размером с оглядную землю? Что погода-то выведрилась – это уж не к земному начальству вопрос, а вот где ястребки наши, а? Что же в каждом пропеллере дышит господская воля чужих? А уже через миг отнималось, обрывалось с дыханием все: и солдатский рассудок, и протяжно плеснувшийся по окопам усталый стон-возглас, стон-жалоба: «Во-о-оздух!»

На четвертые сутки обороны участка «ж/д мост – р. Донская Царица» до высокого солнца стоял над рекою туман, продлевая покой и дыхание жизни измаянных, изведенных

трепещущим воем людей, а едва на земле посветлело, как тотчас придавил все две тысячи душ переполнивший небо, проникающий в кости и сердце басовитый, осадистый гул: зачернели над самой кромкой горизонта десятки идущих в аккуратном строю пикировщиков. Назидательно и осуждающе, будто бы «ай-ай-ай!» приговаривая, зададакали наши зенитки на флангах, да где там, по-над самой землею, расчетливо оставляя барашки снарядных разрывов вверху, потянул за собою железную стаю искусник-вожак. Народился в ликующей сини буравящий звук, и ушибленно ахнул от кучного ломового удара истерзанный берег, осененный приказом «Ни шагу назад!», и сперва далеко впереди свежевырытых логов всплеснули кипящие земляные столбы, вразнобой вознеслись черно-рыжие вихревые деревья, а потом уже тошно знакомый, вынимающий из человека все чувства нескончаемый бомбовый свист вырос словно бы в самом нутре и сомкнулся с горячим и тяжким, словно комель матерого дуба, ударом по спине, по затылку Петра Котлярова, каждой кости и каждому органу, что ни есть в человеческом теле, и еще через миг отовсюду навалилась глухая, непродышная тьма, беспеременно разрываемая желто-красными молниями. Словно жук, запоздало распяливший крылья, всею стиснутой мочью, он пытался отжать наседавшую землю, которая все плотнее сжимала его, норовя задушить и размичать, как и сотню придавленных, задохнувшихся братьев его.

Он не видел уже, как волна за волной долгоносые черти в лаптях на железных ногах, перевортываясь на крыло, с нестерпимым вибрирующим завыванием сыпались вниз, по отвесу пуская в падение бомбы, и как вместе с бешеным крошевом взброшенной из воронок земли подлетали куски человечины в желтых гимнастерочных клочьях; как рвалась и кипела земля, и как небо над берегом стало землей – подымавшейся и разбухавшей, как тесто, тучей рыжего праха. И над этой висячей, тяжелеющей тьмой все ходили «лаптежники», распахав, измесив, засеая фугасами, расшивая, буравя пулеметными строчками берег, готовые уж и винтами рубить, и обутыми в лапти ногами давить все, что может еще шевелиться вниз.

А когда облегченные «юнкеры» канули за оком и горячая персть наконец-то осела на землю, словно сыпучее нутро распоротой подушки, ничего уже не копошилось в развороченных и затрамбованных прахом окопах, разве что оседали еще кое-где, досыпались подсеченные взрывами стенки траншей, а потом истончились последние струйки песка, дополнившего тяжесть недвижимого гнета на кости погребенных завалом бойцов.

Но вот, гляди ж ты, будто сократил бесхребетную склизкую плоть дождевой какой червь, выгибаясь, топорщась, буравя разрушительный гнет с беспредельным упорством живого, хоть руби его надвое острым железом, а он... поднялась, как опара, земля, словно выперла к небу беременным чревом, не могущая спастись, пока не родит. И, прорвав ноздреватую свежую засыпь, продавив рыже-черную кашу округлого, проседающего зыбуна, словно слой раскаленного битого доломита в литейном цеху, из подземных глубин вместе с комьями, крошками, корневищами мертвой полыни, поднатужившись, выперло черное, ослепленное, глухонемое, только что сотворенное нечто. Как бы выросший из гиблых недр человек повалился ничком и плевался, хрипел, все никак не мог выхаркать горькую пыль в выворачивающем кашле. А еще один сын земли Русской, родившийся рядом, ошалело лупился из копотной черни налитыми кровью белками, с клокочущим хрипом засасывал в легкие воздух и вдруг... тягуче, с подвывом, навыворот заголосил:

– А-а-а-и-и-й-а-а! Разъедрить твою-ю-ма-а-ать в бога душу-у... ж-жыво-о-ой! Ты меня, в рот те, в ду-у-ушу-у-у, а вот на тебе, сука-а-а, живо-ой!..

– Глянь, чего у меня, Петька, глянь! – закричал ослепленный Дикань. – В глаз мне вдарило, в глаз – не откρο-о-ю! В красном свете все, за-а-сти-ит! Петька, что ж это, а?!

– Да ну дай же,пусти!.. Цел он, цел у тебя! Это кровью его тебе залило, то-то он у тебя и заклеился! Шкуру, шкуру тебе на загривке счесало маленько! Ох и крови, Егорка, с тебя... чисто как с кабана.

Едва лишь нащупали сами себя, едва лишь башка перестала распухать от чугунного звона, просверленного криками раненых, едва лишь прожегся сквозь полог дегтярного дыма мигающий солнечный зрак, как тотчас опять потемнело от жирного гнуса, наполнилось мерзостным рокотом небо. Нерушимые клинья «лаптежников» наплывали стремительно, неотвратно и так, словно сами утомились от собственной неуязвимости, даже необсуждаемой власти месить и утюжить втолченные в землю стрелковые роты. И паскудный их вой теперь резал по мозгу, как по мертвому дереву, и уже ни один из застывших в смертном приготовлении бойцов даже не ворохнулся: не могли, не хотели уже, повалившись ничком, с безнадежным упорством вжиматься в окопное дно, неприютную землю, что не может тебя матерински покрыть, разве что раздавить.

– Вот и сейчас они нас и dokonчат, – просипел Котляров, и в сипении его уже не было гнева, обиды и боли – лишь одно травяное смирение перед обвальной, расширяющей площадь покоса судьбой.

И когда даже жадность последнего вдоха, казалось, раздавило в груди, в небе сделалось то, что никто из пехоты не смог осознать как законную, из всего предыдущего вытекавшую явь. Неуклонно летящий прямо в лоб батальону вожак, огрузнев, словно угольный ворон, подшибленный камнем, завалился на гнутое в корне крыло и западал к земле, потянув за собой черный дым, а еще через миг желтым солнечным клубом разорвался на части идущий за ним. С ревом темного недоумения, от которого лопалось что-то внутри, подожженный вожак ослепленно пронесся над вымерзшими головами Петра и Егорки, и как будто чудовищным ковочным прессом, сваебойною дурую вдарило в землю у них за спиной, затопив оглушенностью чудом. А за этим ударом и третий фашист запрокинулся лапами вверх, одеваясь огнем и мятущимся дымом... Что же это за сила поджигала их так? Словно Тот, Кому долго молились о хлябях, вдруг сделался виден – сам не сам, а кого-то из пернатых архангелов на Донскую Царицу послал.

Пав как будто из самого рудого солнца, что-то остроконечной прозрачной тенью вонзилось в середку немецкого клина и, казалось, расплющилось оземь, но тотчас же с резким шумом взвилось, одеваясь на взмыве пылающе-яркою плотью и сделавшись нашим! буревым ястребком, красным, как на плакатах ОСОАВИАХИМа. Свечкой выстрелив в солнце, он исчез в задымленной лазоревой прорве и с такою же силой ударил опять – будто и не огнем, а самым носом-клювом, всем телом – очутившись ровнехонько за хвостом у «лаптежника», поднырнув под струю его задней турели и тут же испустив из кипящего носа шерстистые нити.

Развалив и рассыпав свой строй, «певуны» вразнобой устремились к земле и с густыми дымами надсаженных на форсаже моторов потянули на запад. Неужели их с неба, как веником, смел лишь один ястребок – человек? Ну уж нет, друг за дружкой обозначились в небе другие архангелы – тоже красные, как на ликующих наших плакатах, – и, неистово, шало вертаться и сигая в высоту, как кузнечики, по отвесу обрушивались на ослепшие от беспредельного скотского ужаса «юнkersы», каждый выбрав себе на расклеив «певуна», понужая его в хвост и гриву, так что сделалось в небе над берегом чисто, просторно и как будто бы даже безмолвно. Просветлело над русской пехотой, и впервые они, Котляров и Дикань, ощутили над собой берегущий покров.

Но еще ничего не закончилось в небе: новый вал пикировщиков покатыл на окопное полукольцо – прижимаясь к земле, сберегая от залпов зениток голубые свои животы, рокотали, ревели десятки машин; было их уж не счесть, неразрывным казался их строй, никакой уже силою не разбиваемым.

Ястребки заревые кружили, кружили попарно, и никто не поймал того мига, как они собрались, как бы сплывались в клин и пошли, жалкий взводик, навстречу бомбовозной армаде, на лету задирая все выше хвосты и все круче рушась немцам в стеклянные лбы,

почему-то все не разражаясь огнем, будто уж было нечего в морду немцам выплескивать, но зато раскаляясь и слитые в радостной, лютой потребности на разгоне под горку вонзиться в немецкую рать, словно вилами в вилы. И как будто бы лопнули перенатуженные через меру расчалки, тяжи, на которых держался строй лапотников, – ястребки, как один самолет, смерчевым опрозрачневшим плугом рассекли, раскатали их надвое, и они вразнобой заломили всей мочью моторов назад, как попало соря подвесными своими и чревными бомбами, только бы поскорей опростаться от смертного груза, что тянул их к земле, и паскудный их нервнопсихический вой, что вытягивал жилы из русской пехоты, стал теперь нутряным воем ужаса и огромной животной потребности уцелеть самому.

Лишь один штурмовик – может, попросту вдрызг растерявшийся – никуда не свернул, не свалился, не взмыл, а пошел напрямик на позиции правофланговой роты, на такой низине, что казалось, отложит сейчас свои бомбы в траншею, как яйца. Но тот, кто все видел со своей высоты, проявился над линией наших окопов и, стрижом полоснув голубень, с разворота спикировал немцу навстречу, понуждая того отвернуть на закат, и гонял и гонял его там, над рекою, кругами.

Все, кто был еще жив на земле, пожирали воздушное чудо, раздирая сведенные челюсти в крике:

– Бей, бей его, ну! Разъязви его, стерву худую!

А тот, в ястребке, их не слышал – не стрелял, не стрелял, пока не очутился у немца на хвосте и снарядом, покинувшим ствол, не ударил – на взаимный разрыв и разнос! Всей своей живой силой – и мимо, по такой, точно плотничьим глазом прочерченной нежной касательной, словно все, что хотел, – это снять со своей неминуемой добычи кудлатую стружку. Из хвоста что-то брызнуло, штурмовик сотрясло, мотануло, свинтило, тотчас же затянув в безобразный размашистый штопор, а наш, только пришлифовавший ему оперенье винтом, даже не скособочился от такого удара.

– А-а-а-ы-ы-а-а-а!!! – вместе с пламенем взрыва рванулся из людей торжествующий вой, выскребая когтями, выметывая закипевшим глубинным ключом из нутра всю давящую смертную муку и горечь бессилия.

А тринадцатый номер заломил разворот над рекой и лениво проплыл над изорванной линией русских окопов, красный, как первомайский кумач, от винта до хвоста, каждой черточкой облика выражающий гордый, бесхитростный вызов на бой, – опалил возведенные к небу немые закопченные лики волной низового пролета да еще покачал над измученным войском своими скругленными крыльями, словно оповещая: небо над головами у вас с этой самой минуты вычищать буду я, убивать вас так много я теперь уже немцам не дам.

– Ишь ты, как выкобенивается, – проскрипел ему вслед Котляров. – Где ты был, когда немец над нашим порядком висел, как комар над болотом? И месил нас, месил, как была еще полная рота ребят. Опоздал, сокол ясный! Ты небось белый ситничек кушал да своих поварих по кустам зажимал, пока нас... А теперь нам качаешь: вона, мол, я какой! Все в порядке, родные товарищи, отогнали мы гада, дали жара ему.

– Глохни, дурья башка, – оборвал его тотчас Дикань. – Не в пустой след порхал. Да еще как крутил, черт небесный, – хорош! Если б все наши соколы так, а не жгли бензин зря или сами головешками с неба не падали. Вон ведь сила какая воздушная прет. Он один, а под ним – вся Россия. Что же ты его кроешь, когда ты ему должен спасибо сказать, что ты цел?

Часть первая Под немцем

1

– Ника Сергеевна! Подействуйте вы как-нибудь на этого Зворыгина! Третий день я прошу его выполнить все для анализов. И вот сейчас он говорит мне, чтобы я за него подготовила... ну, для анализов... вы меня понимаете!

– Оставьте вы его в покое, Анжелика. У этого Зворыгина такой здоровый организм, что все эти анализы из него можно выдавить только гидравлическим прессом, – отозвалась измученная долгой бессонницей женщина, моложе той, что жаловалась на широко прославленного в госпитале хама, но с той властительною твердостью в усталом ровном голосе, по которой немедля угадывается человек, каждодневно и собственноручно решающий: будет жить ранбольшой или кровь и моча его никогда никому не понадобятся.

Тот, о ком говорили военврач и сестра, недвижимо стоял у окна восьмиместной палаты на втором этаже – в больничном кремовом фланелевом халате, с забинтованным правым плечом – и, лупясь на курившийся сладостным маревом росяной школьный сад, ждал, когда в нем появится Ника Сергеевна. Чугунно крепкие валы и плиты мускулов, которыми был оснащен его мощный, широкий костяк, подтверждали ее правоту. Он вообще смотрелся тут, среди потерявших много крови и калек, до оскорбительности неуместно, ровно как и ему самому все дальнейшее пребывание здесь представлялось и несправедливой ошибкой, и прямым преступлением – крутолобому, бритому наголо летчику с отверделым скуластым лицом и широко прорезанными, точно для полноты обзора с верхотуры, как будто что-то потерявшими глазами, то диковато-отрешенными, ослепшими, то есть отражающими внутреннее небо, то понуждавшими к заведомой покорности, такими синими, что больно в них смотреть.

Боль почти уж снялась – иногда только ныла в заглушь бинтов, да порою не слушались остамелые ноги, но уже было ясно: он тут не задержится. Прооперированных легкораненых, чуть не спустя неделю гнали в маршевую роту, чего ему, казалось, и хотелось. Но Зворыгин страдал. Его сейчас едва не разнимало надвое: там – его место назначения, фронт, красота боевого полета, а здесь... Во-первых, ему было просто перед Никой Сергеевной стыдно.

Он был ранен в бою с крупной стаей бронированных, китообразных жирующих «хейнкелей»: это вам не «лаптежники», что вскрываются, словно консервные банки, – это вам двухмоторные крепости, у которых, по сути, мертвых конусов¹ нет, потому-то и прут, не ломая порядка и хода, вперед, как по улице Горького, величаво-неспешной флотилией поливальных машин, каждый словно бы в предохранительном шаре огня курсовых, боковых, верхних, нижних и задних своих пулеметов. В первый раз и столкнулась его эскадрилья с их плотным, устрашающим строем шириною с Ходынское поле, высотой с десяток домов Совнаркома. Так и эдак выкручивались, из себя вылезали уклонуть огнежогов вот этих хоть раз, то почти что отвесным пике, то на взмыве загоня свои кумачовые «Яки» в исчезающе узкие щели меж смертно пульсирующими огневыми канатами. И вот тут-то он, до неправдивости невредимый с начала войны, и схватил свой родимый свинцовый кусочек. Ястребок его тоненько ахнул, и быстрее наката сострадания к машине чем-то острым, горячим и твердым

¹ «Мертвый конус» – участок пространства, не поражаемый огнем вражеского самолета; наиболее выгодная зона для атаки. Вооружение ряда бомбардировщиков Второй мировой давало возможность кругового обстрела и сводило «мертвый конус» на нет.

стесало кожу на подбородке, и тотчас плексиглас изнутри охлестнуло размигранной клюквой, замутило разбрызгом неожиданно яркой зворыгинской крови. Он не сразу почувствовал удар ровно как острием раскаленного ломика в правую руку, оттого что сначала услышал нестерпимый звук стали, впивающейся в алюминий капота; оттого что, проросший в машину всеми голыми нервами, ощущал ее внутренности, точно органы собственного напряженного тела.

Осознание того, что мотор продырявлен и в любое мгновение может заклинить, обожгло его раньше и сильнее, чем боль, и Зворыгин не сразу постиг, что сужденная пуля обошла его, словно птенца в скорлупе, скобленув подбородок, угодив на излете в каркас остекления и ударив в плечо рикошетом. И вообще это именно пуля заметалась в кабине, как муха меж рамами, а не страшный снаряд «эрликона» хлопнул прямо в фонарь² – уж тогда бы известный продукт жизнедеятельности для загадочных лабораторных исследований Анжелике Петровне было не с кого требовать.

Горячая, рывками нарастающая резь мешала ему двигаться. Пальцы раненой правой руки как будто бы текли сквозь закоснелую, невосприимчивую ручку, и на позиции родных стрелковых рот развернулся он больше рулем поворота, чем креном. Прямо над бесконечной серо-пыльной немецкой колонной, что суставчатым гадом ползла по рокадной дороге. Лучше всякой волчатки нахлестало Зворыгина знание, что он сел на живот в километре от этого гада – у немцев! Ломанулся наружу, повалился в пахучую розоватую кипень цветущей гречихи. И быстрее, чем нашел в себе силы подняться, услышал: кто-то, ровно собака за зверем, продирается с треском к нему. Сцапал левой рукой кобуру и спасенно обмяк, услышав ругань в бога. Ощущение крови, жарко хлюпающей в рукаве, страх того, что уйдет она вся, совершенно его обессилили. Сивоусый боец из «отцов» и скуластый казах подхватили его, потащили к лесочку, обливаясь и словно бы склеиваясь с ним сладко пахнущим общим смоляным липким потом; утащили сквозь ельник в овражек и уж там, не жалея для сокола самого ценного, разорвали по шву индпакет – может, бывший у них и единственным, – наложили на дырку подушечку, прихватили бинтом, и казах, занеся его левую руку на шею, потащил его дальше.

Тут-то он и увидел впервые, за позицией артбатарей в посадке, молчаливое, стонущее и по-детски скулящее скопище раненых. На еловых ветвях или прямо на голой земле тык-в-притык огрузнело пластались запыленно-чумадые наши. Изъеденные ржавчиной бинты были частью военной одежды цвета жухлой травы и осенней земли, точно такую же давнишней, как порывевшие обмотки, шаровары, диагональные бриджи, сапоги... Снеговые повязки с проступавшей сквозь марлю калиновою краснотой были тут самым ярким, но отнюдь не господствующим сочетанием. Легко раненные, но как будто побывавшие под жерновами бойцы отрешенно, безгласно сидели на мятой траве, привалившись к пенечкам и березам с терпеливым страданием на лицах, а направо от длинных санитарных палаток под тяжелым брезентом покоились те, кому ни перевязка, ни операция не требовались.

Прибежал, словно выскочил из чего-то горящего, разрывавшийся надвое, натрое врач – без халата, со шпалами на крапивных петлицах:

– Товарищи! Всем, кто может идти, отходить! Там, за лесом, машины, идите к рокадной дороге и грузитесь в машины, пожалуйста! Помогите, пожалуйста, вашим товарищам! Понимаю, что мука ужасная, но мы с вами со всеми не справимся! Надо самим!

Зворыгин уже мало что понимал: где там линия фронта, где там наши тылы – с каждой новой встряской, толчком на колдобинах боль вступала во все его тело, как ногою в сапог, так что он даже имя свое забывал на какое-то время.

² «Фонарь» – прозрачная, остекленная часть пилотской кабины, защищающая летчика от встречного потока воздуха, ветра, холода и т. д.

У крыльца бывшей школы боль как будто слегка притупилась, но зато и чугунно распухшей руки он почти что не чувствовал; весь был в липком поту и пошатывало, словно чем-то тяжелым огрели по маковке. Полусон, полуявь... Подошла его очередь, и Зворыгин увидел обитые жестью столы, на одном из которых лежал голый раненый с занавешенным марлей лицом и разрезанным будто бы аж до стола животом, – в человеке копались крючками, выворачивали из него что-то склизко тряпичное люди в медицинских спецовках и клеенчатых фартуках, и Зворыгин с бессовестной радостью и в какой-то уже сытой дреме подумал, что его-то рука – это смех, зарастет новым мясом за пару недель, но как раз в это самое дление мимо него протащи́лась сестра с баннным тазом, в который, как коровьи голяшки, навалены были отрезанные синева́то-белесые руки и ноги. И все время, пока помогали ему взгромоздиться на стол, полоскал его необъяснимый и ничем не могущий быть оправданным страх: а что если сейчас у него?..

Кто-то в белом наморднике подступил и навис легковесно над ним, тотчас же приказав медсестре что-то на непонятном ему, летуну, языке – и совсем молодым, возбужденнонапористым, выдающим заносчивость голосом. Ну, конечно: девчонка совсем – повез-зло!

– Доктор, вы уж смотрите... мне рука еще очень нужна... – просипел он, ослабившись, будто шутя, но с просочившимся в его дрожливый голос детским страхом и безраздумным требованием справедливости. – Очень, очень нужна. Это категорически. Я летун, истребитель, мне так: или цел от зубов до хвоста, или все, сам себе уж не нужен, не жалко... – Вымогающе вьелся в полоску между белой повязкой и шапочкой: пытливые архангельские темные глаза глядели в него с вызывающей прямо́той отвращения и ненависти.

– А другим, значит, руки не очень нужны? – пристудила к столу и глазами, и голосом. – Тех еще нарожают... с руками, а ты у нас кто? Раскричался: я, я, надо мне. Не на рынке. Успокойтесь, пожалуйста, летчик. Кость цела, рана чистая. – И с какой-то обыденной хищной разочарованностью: – Даже неинтересно.

– Вы одно мне скажите, пожалуйста, доктор: я у вас хоть не первый? – оскалился он и сквозь белый безжалостный хирургический свет все глодал ее, пил из невиданных глаз, бывших будто бы старше закрытого марлей лица, но и детски бесстрашными, неотступно-пытливыми и такими родными, что сердце в Зворыгине обрывалось аж до живота.

Не то каким хитрым крючком, не то просто пальцем поддетый, свинцовый кусочек был вылуцен из жесткого, плотного мяса и брошен в помоечный таз, переполненный рваным металлом, откушенными и отпиленными у кого-то желтыми костями, кровавыми шматами развороченного мяса, нательными крестами, зашитыми в исподние рубахи и портки, размокшими бумажками со списками молитв, обгорелыми тряпочками самодельных кресал, поеденными терпким потом фотографиями, раскисшими от крови письмами родных, жестянками из-под нескуренной махорки, совсем уж никудышными бумажными комками рублевки и тридцатки... всем-всем немудреным солдатским добром, приберегаемым в неуставных изнаночных кармашках и вот дотащенным бойцами аж до пыточного спасительного операционного стола.

Опустившись чугунной болванкой на топкое дно, он видел то китовый силуэт жирющего «хейнкеля» под единственно верным углом, под которым возможно разбить ему рыло, да притом уцелеть самому, то гречишное поле в цвету, то сведенные, словно кулак для удара, расщепленные мукою братского соучастия лица Султана, Лapidуса, Пояркова, которые каким-то животным магнетическим усилием внедрялись к нему под фонарь и тянули его от земли; то отчетливо вдруг представлял, как шипит и кривится Семеныч, сокрушаясь над битым-перебитым зворыгинским «Яком», человек механического возрождения, который так любит машины, что не может смотреть без шипания в глазах на то, как ястребки разбегаются по грунтовке на взлет, и была б его воля – давно бы поставил все наши самолеты на вечный покой. Но сейчас лица всех, кто искал его по гречишным полям, буеракам, санротам, стали

связаны с новым лицом, а вернее, явлением природы в медицинской чадре. Зворыгин уже догадался, что теперь все медсестры, все женщины будут смотреть на него теми древними злыми глазами.

И теперь он стоял у открытого в росяное, духмяное утро окна, и в его голове будто разом текли и свивались в единый электрический жгут несовместные мысли. То он думал о Нике... Сергеевне, то о том, что должно владеть им целиком, – о длинном счете мести, который он, Зворыгин, должен выполнять: за Шакро, за Стрельца, за Сережку Целкова, за Петьку Луценко... о господстве германского гения в воздухе. Превышение в искусстве – вот что жгло напрокол, не такое огромное, пропасть, как в начале войны, когда все, что могли показать немчуре, – лобовые атаки и собачьи свалки на горизонталях, но все же... Как и прежде, когтило Зворыгина чувство чужого господства, мысль о том, что его, Гришку-Смерть, кое-кто даже не презирает, а глядит на него так, как будто и самый отрыв от земли урожденным Иванам заказан. Эту правду не выжечь ничем, не заткнуть Золотою Звездой и орденом Ленина, потому что она поражает в полете, там, где каждый летун может быть только собственным подлинником. Приходилось признать... да и где там «признать», когда с каждым *его* виражом, каждым росчерком все сильнее впивалось меж ребер и продавливало понимание: это *он* тебя тянет туда, куда надо *ему*, это *он* гасит спичечный огонек твоего разума своей истребительной музыкой.

Эта правда, входящая в плоть на лету, не тянула к земле, запуская страх в душу, как когти, а тащила клещами Зворыгина вверх, заставляя искать встречи именно с трудным врагом, которого тотчас угадываешь по чистоте или даже отчетливой своеобычности почерка. Этот пишет коряво, раздерганно, судорожно, этот – как первоклассник-отличник, а вот этот и есть гордость фюрера, зверь, идущий на тебя во всем своем матером совершенстве, понимая и сам, как он точен, хорош, никуда не спеша и нисколько не медля.

Вспоминались драконы с ощеренными языкастыми пастьми, и большие орлиные профили с гнутыми клювами, и клыкастые львы, и тузы всех мастей, и скелетные руки, тянувшиеся от кабины к винту, и глумливые шершни с копьем – в общем, вся их паскудная фюзеляжная живопись. Обязательный рыцарский герб, означающий принадлежность ублюдка к эскадре и школе, а порой, верно, прямо указывающий на него самого, одного: исключение, величина, все едино уйдет и сожжет в каждом небе любого. От одних расписных тотчас копотный след простывал, а другие проходились по сердцу нарезом и кровили вот эти засечки, открываясь опять и опять, стоит лишь обернуться на загнанных в землю ребят и на тех... кто живет до сих пор в твердом опытным знании, не расплавленной и не подтаявшей ни на гран убежденности: это *они* – навсегда, безраздельно хозяева неба. Акробаты, артисты, художники с черно-белой спиралью на коке и желтым рулем поворота, с хорошо различимым силуэтом бегущего волка на лощеном борту под кабиной – сто лучших, наконецник копья, истребительной силы великого Рейха, пожарная команда, которую бросали на весы в перенасыщенные напряжением отделы фронтового неба, и повсюду тянулись за ними погибельный рев и дымы наших сбитых, сгоравших машин.

Но даже среди чистокровных собратьев Тюльпан был особым явлением. Узнаваемый издали по глумливому полыхающе-красному носу-цветку, трехточечный новейший «мессершмитт» обладал всеми свойствами призрака: был почти что не виден в атакующем лете, переламывал русским машинам хребты, раньше чем его кто-то завидит, сходящего на поживу в отвесном пике; выходил, не таясь, на того, кого выберет сам, заводил круговерт не любимого немцами ближнего боя, а когда становилось в ареале свободной охоты его слишком тесно от «МиГов» и «ЛаГТов», подставлял для забавы свой хвост на расклев и сжигал наших целыми звеньями.

Во всех *его* неуловимых эволюциях Гришке чудилось что-то от змей, саламандр; у *него* будто впрямь выгибался самолетный хребет – настолько смертный воздух был *его* сужденной и дарованной стихией.

Он возникал повсюду, где отборные ИАПы³ выгрызали себе во владение хотя бы клочок высоты для того, чтоб прикрыть километры позиций, на которых стрелковые роты ползком, с сорняковым упорством решали великое «все»; он прокладывал в воздухе просеки для своих бомбовозов – многокилометровые вширь, потому что весь русский радиальный эфир наполнялся придушенным криком, упреждающим лаем, дрожанием: «Братцы! Тут он, тут, разьедрить его, суку худую... Тюльпа-а-ан!»

Даже в самых бедовых, без раздумий срывавшихся на огромные стаи гостей в лобовые психические, прекращал бить тугой молот крови. Железные выходили из боя. Начиная жить самовластно, рабской дрожью налитые руки и ноги уводили машину подальше от зверя, так что даже казалось, что скоро Тюльпан вообще не найдет себе в небе добычи и придется *ему* соскрести свою красную носовую комету – только так *он* и сможет подманить на длину огневого языка хоть кого-то. Но господствующий призрак, не меняя окраса, появлялся и рушился на близоруких ястребков ниоткуда, отливаясь в разящем полете в материальную, зримую силу, и последнее, что видел сталинский сокол, это лезвийный абрис Тюльпана с горелками выстрелов. И когда говорили: «Тюльпан», никогда не имелся в виду человек.

Проросли и окрепли в умах суеверия, запузарились самые дикие мысли-идеи, восходящие из перегона тех далеких веков, когда люди могли укрепить небо над головами лишь куполом. Говорили о невероятном сверхсильном моторе, установленном вместо серийного «даймлера» в красном бутоне, о специальном алхимическом составе изобретенной Крупном хромомолибденовой брони... Ну а чем еще было объяснить, что все наши пулеметные струи исчезали в *его* силуэте?... А то, что Тюльпан был нормальных размеров и легок, как осино-вый лист, и никакой мотор не вытянул бы в гору эту лишнюю тонну брони, никому даже в голову не приходило.

После соударения с непонятной – а стало быть, нечеловеческой – силой закипевший рассудок искал объяснения в технике, совершенстве новейшей секретной машины, позабыв, как съедали на своих «ишачках» динамическую чистоту «мессершмитта», забывая одно: нагружай, так грузи, чтоб перкаль, словно бритвой, содрало с крыла, чтобы череп сдавило свинцовым колпаком слепоты, – вот тогда и для немца вокруг все посмеркнется, потеряет, уронит с перекрестья прицела тебя, и не важно, в какую машину посадили его и каким кислородным баллоном для ныряния на высоту оснастили.

Непонятное – лучшие дрожжи для страха и той беспробудной растерянности, помертвев от которой тянули руки в гору пред немцами батальоны, дивизии наших, а Зворыгин потом проходил над большими и малыми реками, по которым сплавлялись длиннющие баржи с грядями обмороженных русских голов, с оторочкой из редко натканных фрицев по бортам и тесовым мосткам, и никто даже глаз не возвел на него с упованием: вдруг наш?

Он, Зворыгин, хотел и пытался представить себе человека – точно так же сжимающего самолетную ручку, точно так же прихваченного привязными ремнями, точно так же вжимаемого центробежной силой в сиденье, так же смятого прессом литой безвоздушности на больших перегрузках. Человека из кожи, из мяса, костей, в обтянувшей башку, точно скальп, напотевшем глухом шлемофоне (или в *их* чрезвычайно удобном, легком, дышащем сетчатом шлеме), с бисерящимся льдистой испариной лбом, в подопрелом исподнем, в парусиновом комбинезоне. Человека, состроившего у портного канадскую куртку из теплой овчины для русской зимы, – сколько *он* получает рейхсмарок за *сбитых*? Человека, который прыгал сальто с батута, становился копфштейн и вертелся в остойчивых рейнских колесах, приводя

³ ИАП – истребительный авиационный полк ВВС Красной армии.

их в движение скрутом своих гуттаперчевых мускулов. Человека, который испражняется, курит, пьет водку, пишет письма какой-нибудь Эльзе, нацарапав ее драгоценное имя у себя на кабине, изнывает ночами на койке от пытки разошедшимся воображением, вспоминая, как вздрагивала под ее кожей кровь...

Никогда до Тюльпана он не думал о единоличном содержании нелюдей. Представлялись ему костяные, мертвецкие, точно кованные вместе с серыми касками и оружием лица или даже клыкастые людоедские морды в шерсти, как на красных и черных агитационных плакатах: «Убей!», «Смерть за смерть!», «В небесах, на земле и на море». И под кожаным шлемом Тюльпана легко, соблазнительно было представить голый череп с горящими угольками-гнилушками. Но Зворыгин, напротив, наполнял *его* в собственном воображении красной человеческой кровью – для того, чтоб, приблизившись на расстояние дыхания, запаха, поцарапанной лезвием пористой кожи, увериться, что и этот единственный в своем роде летун тоже может устать, ошибиться – если не задрожать, не почуять бессилие, то хотя бы на миг растеряться и поколебаться.

Временами Зворыгин и впрямь будто видел *его* – не лицо, что могло быть любым, молодым или старым, простоватым, рябым, несуразным, красивым, но зато, в максимальном приближении к лицу, отверделую полуулыбку презрения ко всему, что не *он*. И с такою же режущей ясностью – птичьи зоркие, чистые, совершенно пустые глаза с четким, как вороненое дуло, провалом зрачка; немигающий чистый и холоднобешеный взгляд, каким озирает пространство голодная хищная птица, видя каждую тварь и предмет по отдельности и свободно охватывая буревое текучее целое. В этом сильном и ровном, не нуждавшемся в пейзажной оптике взгляде не просвечивало никаких человеческих свойств – только чистая, неумолимая, непрерывная власть прочитать твои сердце и мозг и убить.

Вот что должно было владеть им целиком, но сейчас стыд и гнев на свою нищету, от которой у Зворыгина когти лезли из-под ногтей, вымывались живою водою другого, непостижного взгляда, который бил в глаза отовсюду, – взгляд вот этих архангельских, ведьминских глаз, как будто пересаженных с лица своей хозяйки на другие. До чего же она оказалась неразборчива и вездесуща, эта Ника Сергеевна: было ей все равно, чье обличье принять, лишь бы белый халат и намордник скрывали все, чего он, Зворыгин, не видел. И уже без обмана, пощады – наведенный на след вещей тягой, словно лось в пору брачного гона, – набежал на виденье белеющей меж раскидистых яблонь фигуры, и сидевшая на чурбачке с папиросою так, словно в тонкой спине ее не осталось ни косточки, распрямилась, как гибкая ветка, она. С переполняющей потребностью постигнуть, что за зверь, приемыш человечества, явление природы, смотрел он в обозленное, опавшее лицо, как будто бы и вовсе не красивое, как некрасивы фрески первых каменных церквей, нерасшифрованные письмена исчезнувших народов, вырезавших фигурки животных и беременных женщин из моржовых клыков, заповедное, идольски строгое и неприступное, вмиг придающее тебе прозрачность пустоты и вместе с тем нелепобеззащитное до перехвата сердца, задыхания.

Резче, чем подобало по возрасту, были прочерчены складки от носа к уголкам малокровных, но упрямо дышавших издевкою губ, и как будто углем были обведены мерцающие синевой чернильные глаза, то вдруг проказливые, словно у неподсудного бесенка, то снова горькие и строгие, болящие. Эка скулы-то ей подвело – он почувствовал жалость и стыд за свою неспособность сделать так, чтоб она хоть какое-то время подышала проточным чистым воздухом жизни. И толкнул из себя:

– Извините. Вот, хотел принести благодарность. Это вы ковырялись во мне, не забыли?

– Такого забудешь, – протянула как будто с тоской и досадой она. – Весь сплошное аэро – наш воздухобор. – На каком-то другом языке. Что ли, из Маяковского? Нет, не читал. – Как же это вы так изловчились?

– Чего изловчился?

– Ну, получить такую чистенькую рану. В благоустроенном, так скажем, помещении.

– Ну, скажите еще: самострел. – Он почувствовал радость от того, что глаза ее остановились на нем, что она сейчас с ним разговаривает – разумеется, сколько захочется ей, но ведь с ним, с ним, Зворыгиным, а не с кем-то еще.

– Ну уж нет. Был у нас тут один. Особист, лейтенант тайной службы. Все искал затаившихся членовредителей. Обратите внимание, доктор, еще один, раненный в руку. И опять, что меня настораживает, в левую. Слишком много у нас таких раненых. А солдат сразу в крик: да ты что? да я там... Да бери хоть сейчас меня на передок, и пойду, какой есть, в руку раненный... Оскорблен до кишок человек. Так что я уж скорее поверю, что вы на дуэли стрелялись. Сокол с соколом из-за гагары. Быть может, в нашей авиации кое-какие пережитки царской армии особенно сильны.

– Ну а как же еще? На дуэли. Только не на печоринской, а на воздушной. Что же я у вас первый... из летчиков?

– Если летчиков к нам, так у них уже руки и ноги – в осколки. Или все обгорелые. И никто не кричит уже: резать не дам. Потому что там нечего резать. И спасать, извините за пафос... короче, не жди от него благодарности за такое спасение. Ну а этот упал с аккуратной дыркой – и в крик. А чего вы такого, стесняюсь спросить, совершили и на что вы такое способны, чтобы так вот кричать?

– Я не падал – садился. – И прорвалось самолюбивое хвастливое: – Я вообще не падал никогда. Вы простите меня.

– За что? За то, что никогда не падал?

– За то, что дырка на копейку, а вот крику – на золотой запас СССР. – Надо было ей в тон отвечать и не без ядовитости по отношению к себе, но ее изучающий взгляд с кривоватой усмешкой вводили его в слабоумие: от ощущения урезанного языка, словесной нищеты, подобранного мусора подымалось желание ударить непонятно кого и себя самого.

– Забудьте, Зворыгин. В конце концов, единственный ваш бицепс и вправду драгоценнее, чем Оружейная палата.

– Ника Сергеевна! Товарищ военврач! – позвали ее.

– Ну все, пора в мясницкую. – Взглянула на него, как оттолкнула. – Провожать не позволю – вы все-таки раненый, хоть и очень такой... поправляетесь быстро.

Потащился за ней, воровски, благодарно оглядывая высоко оголенную шею под округлой египетской шапочкой коротко стриженных темных волос, очертания тонкого, звонкого, ливкого тела под смиренным белым халатом, отягощенные колодочными яловыми сапогами ноги, которым никакая обувь, кроме наготы, была негожа, и даже туфли на высоком каблуке ей ничего бы не добавили – скорее, отняли бы что-то от свободы, присущей больше детям и животным, чем напоказ гарцующим на шпильках записным красавицам столицы.

И в эту самую минуту любования в высоком синем небе родился, ввинтился в мозг и пронизал все мироздание вибрирующий вой – знакомый звук, настолько близкий, что «лаптежник» мог падать только прямо на него, только на белую фигуру у него перед глазами. Защитный навык подхватил его, понес с осененного «юнкерсом» места, сама земля толкнула его в ноги – смял валуном ее тряпичное, не ойкнувшее тело, безотчетным движением вклеился в плечо и рванул за собой в пережат – в придорожную липкую и сырую канавку.

За спиной, чуть левее и как будто под самым их общим оборвавшимся сердцем прошибленно ухнула, раскололась в своих темных недрах земля, по спине хлобыстнуло взлетевшими комьями, крошечком, словно целая пара пудов из разверстого бункера пала на них – придавить, растолочь... И рвалось, и рвалось по цепи, убегавшей от них прямо к зданию школы, – вроде бы, все слабее, все глуше... Но гуттаперчево-упругими толчками продолжала вздыматься под ними земля, подбрасывая госпиталь, деревья, солнце, небо... и он с каждым вздрогом земли все сильнее вминал бесконечно живую, сиротливую малость в полукруглое

тесное ложе канавки, в которую Ника уместилась своим узким телом с лихвой, будто эта канавка по ней была копана.

Он боялся ее задушить, раздавить, приварившись, вкипев в ее тело, прикрывая ее своей тушей, открытой и такой соблазнительной для осколков немецких гостинцев, но и сам находя только в Никиных ребрах спасение и живя колочением сердца уже не в себе...

Выжал очугуневшую голову из канавки на свет и увидел бегущую к ним пулеметную строчку, земляные фонтанчики шпарящих крупнокалиберных, и со скоростью взрыва вдавил осязаемо хрупкую голову Ники в сырую и жирную глину. И такою была теснота их объятия в канавке, таким – их взаимное проникновение, что каждый из них был подобен и лезвию, и рукоятке складного ножа.

В чугунном звоне пухла голова. Слух к нему возвращался приливами. Различимыми сделались заполошные крики и стоны вокруг. Вот теперь-то уж точно закончилось. Отвалился от Ники и, поднявшись над ней на колени, потянул на себя за плечо, позабыв, что недавно боялся даже взглядом коснуться ее. Она с цыплячьей силой вцепилась Зворыгину в руку, ухватилась повыше и села, оглушенно и слепо поводя головой. На лице ее пятнами отпечатались темная глина – ошалелом, отчаянном, как у брошенного на военном вокзале ребенка, с огромными глазами, настолько доверяющими, что Зворыгин на миг задохнулся от хлынувшего на него несказанного счастья.

Трехэтажное здание школы по-прежнему высилось среди расщепленных деревьев и дымящихся, словно смолокурные ямы, воронок. Угодившие в стены осколки лишь отшибли углы мощной кладки да изрыли глубокими оспинами розоватый фасад, но широко горело левое крыло, наполненное рыжим пламенем и чадом; на развороченном асфальте подъездной аллеи, меж размолоченных полуторок, среди битых кирпичей и гипсовых обломков парковых горнистов лежали и корчились люди в бинтах, гимнастерках и закровенелых медицинских халатах, с разорванными животами и багровыми тряпичными обрывками конечностей. Как будто дожидаясь хозяина, стоял облитый жирным гляncем хромоый сапог с белеющей в мясе сахарной костью. Добитый ранбольной и медсестра окостенели во взаимном проникновении последнего объятия, словно муж и жена, как Зворыгин и Ника, – может быть, уже мертвых, посеколо их осколками, выдрав клочья повязочной ваты, халата клочки, словно дьявол какой исступленно драл когтями сестричкину спину, а дальше шел снег, почему-то уж не поражая своей невозможностью, забелив, засыпая пушистыми точками, хлопьями окровавленных, словно обмакнутых в сурик людей, – невесомый цыплячий пух и перья сушившихся на припеке подушек.

До вечера не затихали раздирающие крики, ругань в бога и мать, треск и грохот горящих и падающих перекрытий. Ходячие больные таскали из горящего крыла носилки с недвижимыми тяжелыми, подпирали хромоющих, ковыляющих на костылях, и Зворыгин был там же, заводил чьи-то руки на шею, волочил, подпирал, помогал хромоывать, ничего не способный сверх этого малого сделать. Под ногами скрипели и хрустели толченные стекла, через каждую пару шагов запинался о груды разбитых кирпичей и песка, об оконные рамы и двери, которые сдернуло с петель, и повсюду висела цементная и кирпичная пыль – из нее выбредали, хрипя и перхая, седые, как лунь, серо-белые, как мукомолы, страдальцы. Всех тяжелых больных вереницей спускали в подвал. Вездесущий господствующий запах пожара и пыли подавил все больничные резкие и настырные запахи. А когда в небе смерклось, переполненный болью и столами дом получившим пробоину ниже ватерлинии судном погрузился в густую темно-синюю тьму. Электричества не было – генератор разбило, лишь одни светлячки керосиновых ламп и фонарики освещали дорогу врачам и сестричкам.

Нику он потерял еще там, у крыльца, где она, как собака за палкой, сорвалась на ближайший тягучий, с подвывом, стон кого-то из раненых дважды, словно и не была она оглушена, обессилена всем.

Он сам свалился к вечеру от обморочной качки на матрац, а потом неуместная, ничем, кроме воления зворыгинского сердца, не оправданная тяга подняла его и повела сквозь медсестринское материнское «Потерпи, мой родной, потерпи. Мы тебя еще, миленький, женим...» и мужицкое «Пи-и-ить!», «Ох, печет, ох, печет!», «Мама, мамочка, мама...».

Через два помещения, освещенных коптилками, увидел впереди электрический свет – нестойкий, мигающий, странно живой, даже сердцебиенный какой-то, то вянувший до желтой слепоты, то опять раскаляемый до хирургической силы. За развешанными на веревках простынями и марлями копошились, сновали под лязг инструментов медицинские тени – потянуло горелой соляркой, хлороформом, карболкою, спиртом, сырым человеческим мясом и кровью.

Разведя эти простыни в стороны, выперлись санитары с пустыми носилками, а за ними – она, безволосая под хирургической шапочкой, в окровавленном фартуке, в мокрых перчатках, ни единой чертой не похожая на того беззащитного, потерявшего мамку зверька, что взглянул на него так доверчиво: «Ты!» Беспощадно-свободная сила растекалась от Ники теперь – человека, живущего на своем месте службы, во власти; отчуждающей стужей дышало лицо над приспущенной белой повязкой, и о близости, жегшей его напрокол там, в канавке, он, Зворыгин, теперь и помыслить не мог.

Следом вышедший фельдшер протянул ей «казбечину», и она, как безрукая, сцапала папиросу зубами, прикурила от бережно поднесенной бензиновой зажигалки кустарного промысла, затянулась, взглянула на трепетный свет электрической лампочки в юбкообразном жестяном абажуре, неприязненно сморщилась, поискала глазами кого-то и, наткнувшись на ставшего зримым Зворыгина, бросила, подарила его царской милостью:

– Вот он. Прошу вас, товарищ, идите за мной.

Подхватившись за ней, не в алтарь меж раздвинутых простыней, разумеется, а куда-то налево, различил механический шорох и плеск – и увидел такое, чего поначалу не смог осознать, слишком уж неожиданное. Крепкотелый танкист Мохнаков, восседавший на стрекочущем велосипеде, изо всех нерастраченных сил налегал на педали – спертый воздух гудел и потрескивал от напряжения. Что-то от первых опытов Теслы, от безумия первых строителей аэропланов было в этом нелепейшем зрелище, но сейчас людям в госпитале ничего не осталось другого.

– Мохнаков, Мохнаков, отдохните. Я нашла вам замену, – позвала Ника взмыленного созидателя новой первобытной зари электричества. И, метнув на Зворыгина взгляд, приказала: – Замените товарища, летчик. Достаньте сердце из груди, как Данко, и осветите нам хотя бы операционную.

Обожженный танкист, что дышал, как артель бурлаков, перестал наворачивать версты, и немедля в подвале смерклось так, словно разом опустилась земля, и Зворыгин с проворством циркового медведя, взгромоздился за руль и, нащупав педали, нажал, разгоняясь до бешеной мельничной, паровой частоты, добела раскаляя подслепую лампочку, расширяя круг света над самым средоточием режущих, потрошащих, скоблящих движений врачей... а она ни кратчайшего дления не смотрела на эти динамо-усилия нового донора, убежала туда, к алтарю, но Зворыгина поршнем разгоняло сознание, что от мускульной тяги его там, над нею, поярче горит, может быть, даже лупит пристойной белизною в нутро человека горячая лампа, избавляя холодную, точную Нику от болезненного напряжения глаз и хотя бы немного облегчая мясную работу ее в невозможных подземных условиях.

То, что «лапотники» каждый день невозбранно распиливали ясный воздух над городом, чрезвычайно ускорило выздоровление Зворыгина. То, что было вчера нашим тылом, с патефоном и радио, скороспелой близостью медсестричек и раненых, стало линией фронта. Из-за Дона на Волгу напознала тяжелая, весом как бы со всю сотрясенную землю, от земли раскаленно-багрово светящаяся, непродышная тьма, та же самая, что и в июне 41-го года.

Словно вся перегнойная патока всех захороненных от начала времен миллионов людей и животных, все дерьмо всех отхожих и помоечных мест, загоревшись, полезли из темных, никогда не тревожимых прежде человеком глубин, разливая над южной Россией изморную вонь горящего бензина, дерева, железа... и господствующий надо всем сладкий запах паленого человеческого мяса. Было не до признаний. Если где-то в глубоком тылу, за Уралом, в спасенной Москве, у кого-то еще оставалось свобода выбирать, чем и с кем ему жить, то у них с Никой здесь этой стыдной свободы давно уже не было.

Многokrатно побитый бомбежками госпиталь эвакуировался, и Зворыгин стоял посреди голых стен, как на льдине, – обрядившийся в летнюю форму с тремя кубарями в петлицах, уезжающий с младшим лейтенантом медслужбы Ордынцевой в этот же день, но в другом направлении. Почему же не тащит его к окнам Никиной комнаты чувство, что если ничего не скажет ей сейчас, то уже никогда? Что его не пускает? Может быть, то животное предощущение, излучение, ток, что уже после первого взгляда двоих друг на друга сообщает мужчине, что нет, может он примагнитить других, даже многих, но не эту, одну, что меняет для него вкус холодной воды, низового проточного воздуха, хлеба и всплывает со дна каждой рюмки высокими скулами; ничего из того, что есть в нем, не коснулось ее естества, сокровенной ее женской сути.

Поздно, поздно гадать по ее немигающим пыточным древним глазам. Побежал получить от нее что угодно – студеную отповедь, охлест не смиренным, прорвавшимся смехом... и стерег у крыльца... Появилась – самый редкостный, грозный и нелепый солдат в гимнастерке и диагоналевой юбке чуть ниже колена. И с решимостью, даже со злобой, переполнившей кровью нутро, зачужавшим, потаявшим до сипения голосом он немедленно окликнул ее, приказал ей стоять, не услышав себя, и, погнавшись, схватил за плечо, задыхаясь от собственной грубости:

– Ника, можно я буду писать вам?

– Это как ты себе представляешь, Зворыгин? Ты же ведь перелетная особь, и я... Потеряются письма, заблудятся. – Лицо ее не выразило ничего: ни страха, ни досады, ни желания живо пресечь все, что он еще может сказать. Лишь понимающая грусть была в ее опавшем и строго заострившемся лице... или, может быть, взрослая женская жалость к Зворыгину и вина перед ним за свое безразличие, невозможность сердечного отклика, за то, что никогда не сможет, не захочет обмениваться с ним чем-либо, кроме слов, написанных лиловыми чернилами, а если так, то, значит, и письма ни к чему. И словно в подтверждение зворыгинской догадки: – Да и что эти письма, Григорий Семенович? Не увидятся нам все равно.

А вот это уж было ему непонятно.

– Это как? Почему? Это, что ли, в связи с невозвратной потерей? Насмотрелась на раненых – думаешь, просто человека убить на войне? Да на каждого, каждого надо по десять тонн металла израсходовать – подсчитали, статистика! Девять грамм или сколько там – это твои, остальное все – мимо! Во свою мать-землю идет – не в тебя. Есть зачатки мышления, доктор? Я такие прошел пляски смерти с «худыми» – и вот я, живой. Дырку сделали первую – ну так ты ее как на портновской болванке заштопала. И вообще, человек, он живой, когда знает, что его кто-то ждет. Ника, я... я один ведь на свете с тринадцати лет. – Подтекло к горлу то, что Григорий запаял в себе наглухо, заварилось и окостенело само, но выходит, и камень истекает горячей тоской. – Да ну нет, я везучий, счастливый, я живу тою жизнью, которой хотел, но ты будто не пулю, а что-то еще у меня удалила, не ланцетом своим, а глазами, и все, без тебя я неполный.

– Не надо, Зворыгин, тебе не идет. Ну зачем тебе жалобить нашу сестру? У тебя же на морде написано, кто ты.

– Ну кто я?! Если чужой, чужой тебе, так прямо и скажи. И все тогда, не надо эпистолярные романы заводить.

– Ой, не надо, Зворыгин, не надо. Не смогу я с тобой. Ждать тебя не смогу. Ты меня извини, но тебя лучше выбросить, чем потерять. Ждать, ждать, ждать, а потом не дожидаться... – Не досказав, оборвала себя от страха: не надумал ли он про нее себе лишнего? – Я так не хочу, не согласна. Не твой я пассажир, воздухобор. Мне нужен мужчина, которого можно в карман положить. Благополучие мне нужно – так понятно? Да и тебе, тебе нужна другая. Настоящая, чистая, верная, тихий омут, а не попрыгушка. Чтоб она утонула в тебе с головой. Растворилась. А я нерастворимая, Зворыгин.

Что же просто не скажет: «уйди»? Как будто он уже вломился в ее жизнь, неудобный, пернатый, постыдный, наверное, в понимании этих ее... образованных, тонких... и вообще во всех смыслах никто – ни кола, ни двора, десять метров в офицерском семейном бараке, – и она его хочет скорей из своей жизни вытолкнуть, пока он не застрял в ней покрепче, не врос, чтоб потом не пришлось вырывать его с болью, как собственный зуб.

– Ну чего ты ко мне привязался, как собака к хозяину? Я же ведь некрасивая. Если хочешь, больная. У меня узкий таз. Это в маму. Мама еле меня родила. Я, быть может, тем более не смогу никакому мужчине родить. Ну чего ты так дернулся? Не вполне представляешь, как из нас лезут новые люди? Ты же вроде не мальчик. Что ж вам все представляется, что под юбкой у девочки – тайна?

А он дрогнул не от ее прямоты – самого допущения понести и родить от него, меры близости, силы доверия, когда все ненадежное, сотканное из нечаянных прикосновений и свитое из зажатых в кулак простыней, совершенно ответственно переплавляется в несгибаемо прочное, равное материнской любви постоянное.

– Один раз напиши, из Саратова. Ну, что вы добрались. Только это, а там... Знаю, знаю, куда вас, – тайна невелика. – Поглядел ей проничивым взглядом в лицо и смотрел неотрывно с нахальной улыбкой сознания собственной силы, того, что не может уже он, Зворыгин, забыться, и чувствовал: не лицо у него, а собачья морда со страдальческой складкой на лбу и бездомной мольбой в глазах: «Подбери меня, ну!» – Я тебе – на почтаamt до востребования. Ни к чему ведь тебя не обязывает. – И не мог расцедить ее голос, улыбку на правду и то, что ему только кажется.

– Черт с тобой, напишу, – принужденным, измученным голосом согласилась она – со значением «лишь бы сейчас отвязаться». Но вдруг: – А ты правда ни разу не падал?

– Ну падал. Только не до земли. Выправлялся всегда. Как же я носом в землю посмел бы? Если падать, то уж на тебя. – И не мог уловить и постичь, что творится в ее заповедном лице – лишь простая извечная женская жалость к нему, не единственному человеку, за которого страшно, как ни за кого, а к любому мужчине, что всегда как ребенок перед взрослостью женского сердца, нутра, естества? Лишь жестокое всепонимание: никому в это время на русской земле не сцепиться надолго, а тем более такому, как он, истребитель бензина, с такой, как она, не ее он породы, среды обитания, страны, в которую попал случайно и жителем которой стать не может, – так ее понимать?

– Я тебе, пожелаю, Зворыгин... сам знаешь чего.

– Что ли, русскую грамоту выучить? Не надейся, владею, у нас это дело всеобщее, научила советская власть.

– Чтобы больше не падал... на моих конкурентов. Чтобы мне не пришлось ревновать. Ну, прощай... – Оттолкнула глазами его и пошла за ворота к машине, до последней минуты не утратив своей постоянной двусмысленной ядовитой насмешливости.

Через час он уже ехал в поезде, то летевшем, то ползшем на юг по тоскливым калмыцким степям. В Сталинграде сейчас находилась ось мира, а он видел только полынь да ковыль, отливающее алюминиевой сединой ковыля безначально-унылое, бесконечно-смирненное голубоватое небо, породненное, слитое с бесприютной землей; словно один и тот же сточенный ветрами холм плыл и плыл у Зворыгина перед глазами. Но Зворыгин был

сыном степей и давно был приучен к терпению вышней воздушной пустыней: знай плыви над пустою землей, доверяясь стремнине, стереги зорко жертву, и пустая бесцветная высь через миг или час закипит самолетною жизнью чужих, и тогда раскалившийся воздух подожжет тебя так, что не сможешь не резать синеву эволюциями с частотою осинової дрожи, ни кратчайшего дления не сможешь лететь по прямой, потому что инстинкт выживания в воздухе есть инстинкт красоты боевого полета.

Степь вытягивала из-под колес хвостового вагона шелковистые рельсы, как будто две нитки. Зворыгин думал то о Нике, о ее санитарном составе, идущем в Саратов, то о личной и русской боевой нищете по сравнению с лучшими немцами, совершенной свободе, которую показали *они* на немыслимых вертикалях в начале войны и сейчас продолжали показывать, так что братья его все горели и на каждый сожженный «худой» приходилось до трех русских душ.

Параллельные мысли законно сходились: от кого же Зворыгин закрывал Нику телом неделю назад?

Сам Тюльпан никогда бы, наверное, не напустился на такую смешную поживу, на змею санитарного поезда много больше него самого, – расщепать вереницу ползучих вагонов, доклевать беззащитных подранков, – даже если бы рыскал в глубоком тылу. *Он* всегда выбирал себе жертву покрупней, потрудней, попроворней – из того же инстинкта, что вел и Зворыгина. *Он* всегда появлялся только там, где вершилось воздушное «все», и Зворыгин какой-то особой позвоночной струной – если был бы в шерсти, то и каждой шерстинкой – угадывал, что Тюльпан сейчас тоже обитает южнее Сталинграда, где наши так вклешились когтями в горелую землю, что ничья авиация ничего не решает. А над шоссейными дорогами и перевалами Кавказского хребта две воздушные армии предрешить могли многое, и почти что наверное *он* ждал Зворыгина там. И вообще – если думать о том, что потрогать нельзя, но возможно вдохнуть, если думать о силе, которая духом зовется, – *он* же вел за собой других, остальные тевтоны наполнялись *его* неподсудною силой. Да, лучше Балобана тут не скажешь.

Ко всему уж, казалось, привыкший, оглушенный вседневными сводками самолетных потерь, колдовской быстротою, с которой Тюльпан выжигал эскадрильи отличных и слетанных, до кровавости забагровевший воздушный командарм Балобан подышающим, стиснутым голосом резал своих командиров полков: «Сколько у меня истребителей?! Я спрашиваю, сколько?! Одного, одного сбросить с неба не можете! Вы чего это, а?! Кто бы ни был такой, да хоть черт вообще! Не способны умением – навалитесь числом. Перед носом пустите манок – налетай, можно кушать. Первый год, что ли, замужем?! Два звена поднимаются за облака, ну а ты за собой его тянешь, наверх, под биток. Он когда за тобою пристроится – все, им владеет стремление одно, головой уже больше не крутит. И куда ему, как, если ты занял два или три этажа? Где Зворыгин?! Ну, скажи мне, друг ситный, – почему не горит? Что молчишь-то, герой? Значит, „Правда“ неправду писала – народу! – „Будь таким, как Зворыгин“?! Будь таким, значит, что ли, как он, как Тюльпан?! Понимаешь ты, что это значит? Он же там у них, фрицев, на каждом столбе. Он – их гадское знамя, на нем их поганая свастика держится! На его сучьем киле, его! Немцы силу свою признают, понимают, что если у них есть такие, как он, значит, сила – они! Верят в то, что они нас способны согнуть! До последнего вшивого ганса в обозе! И не дрогнет никто, не попятится! Дух! Дух их войска – вот что он такое! Значит, мы еще горя с такими хлебом! Надо сжечь его, гада умелого, слышишь? Показательно сжечь».

И срывались загонщики стаями в раскаленный отдел и этаж самолетного неба, отзываясь на каждый радиный набат: «Букет, Букет, я – Ландыш! В десяти километрах южнее Большого Токмака вижу десять „худых“. Всем внимание! Тюльпан!» Засекали, подкрадывались над... и под снеговыми компрессами многоярусной облачности, выпускали живые приманки на невидимых лесках, брали в клещи *его*, зажимали в вертикальных и горизон-

тальных тисках, в сотый раз исполняя все то, что давно заучили, чем уже убивали других дальноточных и хитрых «худых», – перекрещивали подо всеми углами кипящие струи, растягивали перед *ним* и над *ним* сеть из огненных трасс, но Тюльпан все одно, словно балуясь, выворачивался из-под залпов на невиданных по чистоте управляемых бочках и переворотах; на ножах проходил между огненных ниток и самих ошалевших охотников, будто впрямь сквозь себя пропуская беспримерно расчетливые пулеметные очереди, раскаленные метки которых пропадали в *его* силуэте; исчезал из прицела, провалившись тебе «под мотор» в то мгновение, когда ты, уже торжествуя, давил на гашетки. Камнем рушился в синюю высь, растворяясь в слепом от сиянья зените, перед тем извернувшись разрезать огнем четверых, так что скоро команды облавщиков уподобились как бы штрафным эскадрильям. Проросло и окрепло в мозгах суеверное: «НЕ человек».

В первый раз он, Зворыгин, соударился с нечеловеком под Красным Лиманом. Его звено в тот день послали на прикрытие девятки бронированных «горбатых», снаряженных фугасами и зажигалками белого фосфора. Идущие в пеленге «Илы» друг за дружкой западали на железнодорожный разъезд – эшелон с запыленной грядой угловатых брезентовых взгорков. Густогусто, как нити в прядильной машине, трепеща и бросая ракетные отсветы, потекли огневые жгуты – красота! «Яки» рухнули на полыхнувшую станцию вслед за горбатыми, поливая из ШВАКов и ШКАСов⁴ зенитные всполохи, заматававшихся маленьких серых, насекомо ничтожных людишек, голосащих: «Фляйшвольф!», «Шварце тод!» Охотничий угар, какое-то звериное, болезненное возбуждение, которое, наверное, в крови у всякой твари, близорукое, ложное чувство господства густо обволокли всех троих: и его самого, и Петро, и летающего полкового комиссара Савицкого.

Тут-то и появился невиданный, до последнего мига невидимый *он*. Народился из серо-белесой пустой вышней хмари, возвестив о себе пересекшим все небо звуком стали, вгрызающейся в алюминий, и немедленной гибелью цельного «Ила», что вонзился в пожарную каланчу на излете, превратившись с ней вместе в кирпичное буро-красное облако. Распаленный поливкой зениток, Зворыгин, обернувшись, увидел в хвостовой полусфере штурмовой нашей стаи четверку сливавшихся с небом «худых» и одну, с просяное зерно, небывалую красную... точку. Обтекаемый нос вожака вызывающе рдел, раскаляясь в атакующем лете. Встречно-пересекающим курсом пошел на горящую метку, даванул вместе с Петькой Луценко гашетки, не ладя прицела, лишь бы сразу загнать меж своими и немцами клин, – «мессершмитты» пошли круто вверх, и Зворыгин рванул в ту же гору за ними, с отвращением почувствовав, как чугунеет на взмыве его ястребок, и увидев растущую пропасть меж собой и хвостами «худых», продолжавших брать кручу, как если б летели с горы. Значит, с новым мотором – отрываются в горке играючи! Положил ястребок на живот, понимая, что отдал невиданно сильной немчуре высоту. Где Савицкий?! – трепыхнулась тревожная мысль. Ходу дал комиссар с зачумленного места – без дыма! не вихляясь и не скособочившись... Ранен?! А «худые» уже разделились на пары, и одна потянула за «Илами», в то мгновение как тот, с полыхающим носом-цветком и бесцветным ведомым, обвалился с горы на Зворыгина с Петькой. Сколько раз уже так подставляли хвосты на снижении, прошивая воздушную толщу до самой земли, и вот хоть бы им хны, уходили. Видел он, как «восьмерка» Луценко выходит у него за хвостом из пике и идет в разворот; сам пошел еще круче к земле, видя, как нарастает у него за спиной косокрылый анфас «мессершмитта», тюльпан, круговой блеск винта с переливами трех лопастей, придвигавшейся по миллиметру фрезы, видя, как эксцентрично вращается перевитый спиралью черно-белый лоснящийся кок... Дай почуть

⁴ Советское авиационное вооружение: ШВАК – малокалиберная авиапушка, созданная конструкторами Б. Г. Шпитальным и С. В. Владимировым; ШКАС – синхронный авиационный пулемет конструкторов Б. Г. Шпитального и И. А. Комарицкого.

ему, что ты – мясо, дай ему подойти к тебе на расстояние звериного запаха – и вот тут-то выхватывай свой ястребок из пике в высоту... рано... рано... сейчас!

В высоту он ввинтился крутою спиралью, зная всем своим опытом, всей своей зрячей кровью, что сейчас, положив на живот ястребок, прямо перед собою увидит красноносого немца. Все он, все сосчитал: угол крена и угол атаки, кривизну своего виража и предельную тягу чужой силовой установки... – в общем, все, что константами и переменными определяло красоту боевого полета и, вскипая, выметывалось, выносилось из недр его мозга за какое-то неизмеримо ничтожное время, как вода в роднике под напором глубинных ключей. В управление телом Зворыгина властно и неделимо вступал хищный птичий инстинкт, и когда это происходило, он не ведал зазора между мыслью и телодвижением.

Он уже убивал эту тварь, он уже по-котовски прижмурился – и увидел простывший, опрозрачневший след ранверсмана, на который способен, казалось, лишь подхваченный ветром листок, – вот с такою живой кривизной опрокинулся *этот* на горке и ушел глубоко под Зворыгина предугадывающим поворотом. Крутанулся за *ним*, озираясь, кто где, лишь теперь хорошо разглядев оскорбляющий красное знамя пижонский цветок на капоте: размалеванный, тварь! любит, сука, себя!

Петька же далеко отогнал от себя «мессершмитт» без особых примет, а пижон мог свободно уйти в облака, но, как будто глумливо повторяя зворыгинский ход, повалился в крутое пике, подставляя им с Петькою хвост, – и не сам он, Зворыгин, а Петька тотчас рухнул за *ним*. «Стой, куда?! Отпусти его, Петька! Наверх! Выходи! Это он тебя, он за собой на веревочке, дура!» – разодрал глотку криком в пустое, рванувшись из железного плена, потому что и плохеньких раций тогда в самолетах их не было. Видел все и не мог ничего.

Оглушенный ликующей кровью, сорвался Луценко в соколиный удар, выжимая из «Яшки» все то, что давно изучил, чем уже убивал... Потянувший его за собою Тюльпан будто аж изогнулся в хребте, вынимая себя из падения – в горку, и Петьке – или в землю винтом, или ручку изо всех сил и жил на себя. Сам себя убивая своею же нищенской скороподъемностью, Петька вышел под скальпельный высверк *его* пулеметов, словно селезень в брачном угоне под выстрел охотника, опрокинулся на спину и полетел на холодную угольно-ржавую землю горящим смольем. И Зворыгин услышал его вымораживающий крик – мозговой, исторгаемый всем, что ни есть в молодом сильном теле, крик живого, горячего человека в убитом, выгоравшем дотла самолете. Когда нашего, русских, тебя, а не ты – этот крик обжигает точно так же, как мерзлый чугун, любопытные детские губы на лютном морозе.

Железной дужкою амбарного замка защемило Зворыгину сердце. Но разжалась на сердце живом и она, как увидел за спиной очертания второго «худого»... просверкнули вдоль левого борта розоватые длинные метки ублюдка... ну теперь уж навалятся, гады, вдвоем... Вот и нет! Что ли так у них, рыцарей, принято было – не мешаться, когда завертелся собрат с красноезвездным Иваном один на один. Или этот, Тюльпан, снисходительно отдал Зворыгина на поживу своей бледной тени – без сомнения в том, что ведомый так же чисто сожрет близорукого русского, как и он сам.

Ставил «Як» на крыло и не мог даже этого, младшего, перекрутить, с беспредельным давящим омерзением к себе признавая, что за Петьку не может ответить ничем – никого вот из этой немецкой породы обогнать своей мыслью не может. А так? Предложил ему хвост на ощипку – потащил за собою в воздушную гору, соблазняя своей жалкой скороподъемностью, и на полностью вывернутых элеронах затянул ястребок в безобразно тягучую – словно сквозь глину, – вожделенно обломную бочку, потеряв скорость и высоту с такой резкостью, что звенящий в угонном насаде ублюдок пронесся над ним в осязаемом ужасе: где? где иван, что покладисто взмыл в вышину? А иван провалился ровнехонько в мертвую зону ему, очутившись чуть ниже, левее и сзади, и затрясся в коротком припадке всем телом машины, из себя выпуская с торжествующей мукою все, что держало когтями его, видя, как бронебой-

ные трассы вскрывают алюминиевый борт и разносят фонарь. Ни мгновения он не смотрел на сверкающий копотный факел – шарил в небе того, настоящего, кто убил его Петьку... и не смог уместить: красноносый уходил в облака, неуклонно раскатывая серебристыми крыльями воздух по кратчайшей прямой – убегая!

– Куда?! Вот же, вот же он я! Ты чего это, а?! Ты же вон какой, ну! – И, заныв от бессилия, непонимания, обесмысленным взглядом царапнул приборную доску: ага, верно, вот оно что – стрелка топлива там у *него* на нуле. Только это железномашинное потащило *его* от Зворыгина, а не страх перед русским, показавшим, как может убить. – Ах ты, матери твоей черт! Я с тобой повидаюсь еще. Вспомнишь ты моего Петьку, вспомнишь. Я тебе еще дам себя в небе почувствовать. Я тебя с дымом в землю, потом откопаю и обратно в «худой» посажу.

2

Радость первооткрытия материка. Неподсудно и необсуждаемо я плыву над чужой неоглядной землей. Кислородный, буравящий натиск реальности. Все пропитано нашатырем. За стеклом фонаря – неправдивый, нечаянный сказочный мир, в который ты проник без спроса и как будто без надежды принять в нем участие. Разве не беззаконно, по сути, путешествие как таковое, оставление места, отведенного Господом каждому виду для жизни? Разве не беззаконен колумбовский импульс? Абсолютно, настолько, что, коснувшись ногой кромки новой земли, пересекши воздушный барьер, ты уже не имеешь возможности не убивать. Это ведь не пустая земля: десять тысячелетий здесь жили, поклоняясь своим зверолицым химерам, другие. Кроманьонцы и неандертальцы, два народа, две массы, две расы, которых друг для друга не существовало так долго, что и впредь друг для друга их быть не должно. И у тех, и у этих в глазах – обреченность на взаимное непонимание, и это не темное травоядное недоумение коровы, увидевшей мальчишку на лугу. Путешествие, завоевание, убийство – у них одна суть. Нарушение границы. Завета. И тяга к расширению собственного бытия. И вот еще бином Ньютона: того же корня – скорость и полет. Воздушный бой, свободная охота суть проявление той же вечной тяги, заложенной в природе человека и неискоренимой точно так же, как потребность ребенка наполнить минимальный отрезок временной пустоты максимальным пространственно-скоростным наслаждением. Хватит, совестно, право, тратить столько словесного шлама на растолкование хлеба.

– Lisa, Lisa⁵, – командует Дольфи в эфире с наивной поводырской заботой, и мне кажется, я различаю насмешку в его направляющем голосе.

Что скрывать, не терплю быть ведомым. Пассажиром, аккомпаниатором, пациентом в любезном стоматологическом кресле, пареньком, подающим футбольным героям мячи. Не терплю быть зависимым. Но при чем тут обида? Обида – это чувство того, кто не создан хозяином.

Мы оба – лейтенанты, но на счету Гризманна восемь русских крыс, а за моей спиной – Ливийская пустыня. Переходим экватор⁶ – наплывают стада чуть присыпанных угольной пылью снеговых облаков, через миг я оказываюсь словно в воздушной коптильне, мой «Эмиль» начинает дрожать, прорезая крылом кучевую грядку; силуэт «109-го» Дольфи, за которым я должен держаться на сто метров левей, совершенно не виден сквозь эту вездесущую белую мглу.

⁵ Lisa (нем.) – одно из кодовых слов пилотов люфтваффе, означающее левый поворот на 10°.

⁶ «Экватор» – кодовое слово немецких летчиков, означающее, что самолет вошел в зону облачности.

– Ваша све-е-етлость, куда вы пропали? Я Südpol⁷. Опускайтесь ко мне, влево сорок, – с насмешливой тревогой выговаривает исчезнувший Гризманн.

Поднырнув под клубящийся пласт слепоты, вижу серо-зеленую землю, плывущую в широченных разрывах низовых облаков, исчезающий и возникающий крестик изящного Мессершмиттова детища.

За семь дней перелетов в глубину украинской земли – мы летели все больше по компасу – я еще ничего не увидел. Лишь колхозные пашни, поля, похожие на калабрийскую капусту с высоты дубовые и буковые рощи, светло-серые ленты и стрелы дорог с вереницами наших «мерседесов» и «бюссингов». Лемберг, Зборов, Проскуров так и остались для меня лишь точками на карте, соединенными прямыми наших самолетных перегонов. На земле – безупречно обустроенные аэродромы с давно уже засыпанными пленной рабской силой огромными фугасными воронками. Правда, вот о бетонных рулежках и взлетных нам, похоже, надолго придется забыть. Изобильная зелень хвастливых украинских садов, облитая глазурью солнечного света, – как кусочки для сборки завоеванного нами рая.

Торжество равнодушной природы там и сям прерывалось широкими просеками, буреломами, переходящими в груды кирпичного мусора и немые, пустые кварталы остывших руин, обвалившихся стен, устоявших фасадов, торчащих из земли незыблемыми декорациями. Это перетекание, обрыв бывших многоэтажных жилищ в пустоту, обнаженность их внутренностей зачаровывали. Как будто утоляя желание ребенка заглянуть в жизнь под крышами, видеть сквозь стены, перед взглядом моим проходили квадратные соты квартир, диорама мещанского быта, удивительного в своей жуткой обыденности: узорные обои с фотографиями исчезнувших хозяев, чугунная ванна среди кафельных стен, пошедшее ветвистой трещиной трюмо, решетчатая детская кровать с валяющейся подле плюшевою падалью, фарфоровые статуэтки на комодах, по-прежнему готовый к услугам унитаз с громоздким бачком и цепочкою слива, бельеовые веревки с прищепками, велосипед, какие-то железные тазы, кастрюли, примуса... и все это покрыто белесой известковой пылью каких-то всеохватных археологических раскопок.

Господствующее сочетание обожженной кирпичной красноты и черной копоти окончательно делало все города одинаковыми: так ярмарочный монстр или воздушный акробат, перевозимый из страны в страну поводырем-антрепренером, все время попадает будто бы в один и тот же город: таксомотор, гостиница, «рождественская елка» посадочных огней на летном поле. Туземные хозяева домов, в которые нас с Альфредом и Лео определяли на ночлег, смотрели на нас с обожающим ужасом, как на тех, кем они могли стать бы, родись они немцами, с гримасой душевнобольного восторга и сложной, одновременно искренней и фальшивой признательности непонятно за что, будто мы их уже навсегда пощадили.

Между облачным пологом и землей остается все меньше голубого пространства. Сходим на сенокос, и земля под крылом не плывет, а несется. Различаю на десять часов⁸ ни живое, ни мертвое нечто: средь каштаново-желтой равнины разверзается, ширится колоссальный карьер, переполненный смутно шевелящейся массой... человечьих голов. Невозможно ее охватить – однородную, слитную, навсегда неделимую. В серо-желтом обмундировании, с волосами и лицами цвета осенней земли и пожухлой травы – не полки, не дивизии даже, а как будто вся Красная армия втиснута в этот карьер. Если б все эти тысячи не были так жестоко спрессованы, то давно бы уже как один повалились, полегли, перегнив на корню. Непонятно, как эта великая масса стоячих существ вообще шевелилась. Мне показалось, что

⁷ Südpol (нем.) – «Южный полюс», кодовая фраза пилотов люфтваффе, означающая, что самолет находится ниже облаков. Nordpol (нем.) – соответственно, выше.

⁸ «...различаю на десять часов» – имеется в виду простейший способ указания цели – по воображаемому циферблату. «Двенадцать часов» – прямо впереди, «шесть часов» – прямо за спиной.

людей закручивает медленный водоворот. Как будто шнек огромной мясорубки продвигает в глубь земли это не человечесьё и даже не скотское множество.

– Посмотри, посмотри! – слышу голос Гризманна в наушниках. – Посмотри, что мы сделали с русской ордой!

Идиот, чем ты будешь жить завтра? Я не верил в скорейшую, не длиннее вот этого лета, агонию русских. Никаких вам записок Геродота о Скифской войне. Мне хватает простой математики: русских – сто миллионов, а нас... Но сейчас эта прорва оскотиневших пленных дивизий проломила мою математику: если красные армии русских повально бегут и такими стадами стекаются в эту воронку, в отведенные им котлованы, то зачем я сюда прилетел? Что достанется мне в опустевшем воздушном пространстве, беспреградном до самой Москвы?

По прибытии на Украину я знал: многотысячная авиация красных наполовину сожжена на собственных аэродромах, наполовину уничтожена откровением собственной низости перед расой воздушных господ. И вот мы кружим парой в глумливой пустоте, не видя копошения муравьиных полчищ и пылевых фонтанчиков внизу; мои руки зудят в ожидании хоть какой-то поживы, и вот, наконец, на двенадцать часов, двадцать градусов ниже в безмятежной, подернутой дымкою голубизне косяком проступают почти неподвижные точки, словно огромные лесные комары в немыслимом в живой природе строгом боевом порядке.

– Внимание, ваше сиятельство. Antreten⁹, – командует Дольфи.

Плывущие по направлению от нас неведомые бомбовозы в стремительном и плавном нарастании приобретают силуэты наших «хейнкелей» с их эллиптическими плавниками и сплошь стеклянными носами обозрения. Они движутся тройками – двое чуть приотстав от ведущего, – неуклонно и медленно, с очевидной задачей беременных: разрешиться от смертного груза над жизненно важным узлом, погresti полутонною бомбой окопное множество русских, а за ними и выше их на невидимой привязи режет зигзагами воздух пара маленьких, юрких велосипедистов¹⁰, так что нам остается лишь коротко покачать этой парочке крыльями и увидеть такое же точно движение в ответ. Дольфи знает вот этих ребят из четвертого стаффеля¹¹:

– Притцль с Ханном сегодня овчарки при стаде.

Мы проходим над ними и уже начинаем поворачивать влево, как тут что-то полупрозрачное, насекомо ничтожное водомеркою пересекает недвижную гладь глубоко подо мной, уходя под крыло вместе с темной бугорчатой массой большого дремучего леса, с самолетною скоростью обгоняя лесные гряды, а за первым стремительным крестиком тотчас возникает и гаснет второй, и еще одна пара – все равно что зеленые искры над разливом зеленого пламени.

– Я пять-два, я пять-два! Всем внимание, на девять часов, сорок градусов ниже – чужие! – кричу я лязгающим голосом. – Пять-один, пять-один, разворот, опускаемся, ну же!

– Где? Где?! Ни черта я не вижу! – отзывается Дольфи с хорошо различимым презрением, заложив над флотилией «хейнкелей» поисковый вираж. – Что ты делаешь, чертов дальтоник?! – навсегда опоздав, лаем рвет он мне уши – развернуть меня, вытянуть в повиновение, когда я уже рушусь в зеленый пожар, сделав переворот раньше, чем он вскипел.

Вот они, невидимки – круглобокие и бочконосые русские крысы – сенокосом крадутся над самыми кронами, подбираясь беременным бомбовозам под брюхо. Я – трехтонная бомба, режу огненным бисером их вожака, и того сотрясает короткая дрожь вместе с выбросом щепок расколотого в центроплане крыла. Я беру еще круче к земле, прошивая воздушную толщу за хвостами подслепой, ничего не увидевшей, кроме разрыва своего пред-

⁹ Antreten (нем.) – «начинаем», команда на сближение с целью по кратчайшей траектории.

¹⁰ «Велосипедист» – кодовое обозначение немецкого истребителя.

¹¹ Staffel (нем.) – тактическая единица люфтваффе, «эскадрилья».

водителя, парочки. Перед носом моим – пустота и огромные темные кочаны калабрийской капусты. С восхитительно звонкой надсадой – как будто во мне натянулись рояльные струны, пронизавшие пташку мою до рулей, – вырываю себя самого в высоту; темнота на мгновение нажимает свинцовыми пальцами мне на глаза, и опять у меня перед носом они.

Выбираю ведущего – у него никудышный обзор из-за пожравшего фонарь длиннющего гаргрота¹², но зато поистине крысиное чутье, и, давя на гашетки, я чувствую моментальный озноб этой твари, уловившей мое приближение своими вибриссами. Сорвавшиеся струи раскраивают пустоту. Они уходят вверх, но только для того, чтоб стать добычей Ханна и Гризманна. Добычей? Непохоже. Два звена русских крыс, шесть машин, обвалились на наш караван, и стрелки бомбовозов всю поливают разрезаемый крыльями воздух.

Скольжу по виткам прожигаемой трассами лестницы – вверх. Смерть – это немецкий учитель, гоняет на корде по куполу цирка, хлеща шамберьером тебя вдоль хребта. Подстреленный на непосильно крутом вираже фанерный индеец¹³ чихнул, заплутал и начал размазывать в небе клубок черной шерсти, но пара индейцев уже на хвосте у возликовавшего Дольфи. И тут я пускаюсь на шалость, которой еще не выкидывал: спикировав, вонзаюсь меж распластанными на воздушном потоке иванами и ложусь на живот прямо перед трехлопастным нимбом ведомого, так что русский не может меня разорвать: довольно легчайшего крена, скольжения, бочки – и трасса, сужденная мне, разрежет его жоака, который не видит меня, зашоренный жарким, густым вожделением, забыв обо всем, кроме киля Гризманна, который кричит как обваренный:

– Ханн! Кто-нибудь! Снимите с моего хвоста вот этого ублюдка!

Я стал тенью крысы, я с ней совместился, как с выкройкой, держась у нее за хвостом, на оси, – ведомый, конечно, скользит на крыло, бросает машину левее и ниже – полоснуть меня наискось, – поздно, я уже надавил на гашетку. Точно дистанционный взрыватель сработал у русского прямо в кабине, в мозгу его, в который я вселился и просто довел до кипения его увлеченность немецким хвостом.

Разворачиваюсь вправо так круто, что едва не срываюсь в уродливый штопор, – ведомый иван тотчас делает переворот – и довольно изящный, чего я от него, право, не ожидал, – и, разогнанный жаждою мщения, пикирует следом за мной. Их фанерные пташки на редкость легки и разворотливы вплоть до способности вертеться как юла; на виражах они нас обгоняют с почти пугающим запасом, но вот пикируют, как сигаретная коробка по сравнению с чугуною болванкой. Одним телодвижением выращиваю пропасть между нами и за огромное мгновение до того, как листовая масса подо мною рассыпается на множество отдельных... преодолеваю тяну безбожно закоснелую, не поддающуюся ручку на себя, задирая машину намагниченной мордой в зенит, и теперь остается мне только оправиться после краткого натиска боли... Ох уж этот несносный промежуточный пыточный рай – надо, надо войти в эту мрачную радугу для того, чтоб прозреть и убить. Уложил на живот «мессершмитт» и из этого рая настырного вышел: приотставший в падении русский так же неправомерно отстал от меня и на взмыве. Я почувствовал, как русский тянет все жилы – только ради того, чтобы вырасти у меня перед носом, дотянуться ползущим по воздушному склону побегом до моей пулеметной струи. Взрыв ручного огня, и крыло у него отлетает, взмывая в вышину и крутясь, – сам он в точно такой же спирали, будто бы подражая своему воспавшему в горние выси крылу, одноруким калекой стремится к земле.

Уцелевшая тройка русских тянет серые шлейфы форсажа на юго-восток, ни о чем, кроме скотского «жить!», больше не помышляя.

¹² Гаргрот – продольный обтекатель на фюзеляже. У некоторых моделей самолетов являлся продолжением фонаря, затрудняющим задний обзор.

¹³ «Индеец» – на жаргоне пилотов люфтваффе: вражеский истребитель.

– Ге... Герман, – окликает меня севшим голосом Дольфи и тотчас начинает орать, как глухой: – Бог мой, Герман! Ты избавил меня от ублюдка! Это было, как... как... как явление архангела Михаила с небес!

Вот вам и подтверждение того, что самая неистовая благодарность Господу Отцу лезет из человека через задний проход – давно и хорошо знакомые науке мускульная слабость и ликование спасенного оленя.

– Это я испугался, что мне без тебя не добраться домой. Должен же кто-то в нашей паре отличать зеленое от красного, приятель.

– Издеваешься, да? Ладно, Feierabend¹⁴, друг. – Никакой резкой властности, его голос дрожит и виляет, словно хвост выражающей благодарность собаки.

Он, похоже, считает, что за восемь минут до спасения оскорбил меня страшно, прокричав на весь свет о моем «утаенном от Рейха» изъяне. Я и вправду дальтоник. Вот единственное несовершенство сей божественной плоти, дубовый листок меж лопаток железного Зигфрида, прыщ на заднице первой красавицы школы. Уголок в моем дивном хрусталике, что похищен лукавым у Господа. Еще в первооснове у меня украли какой-то там чувствительный пигмент и обрезали красную часть полномерного спектра. Не могу отличить красный цвет от каштанового или темно-зеленого, проводя между ними границу одним умозрением, принимая на веру, смиряясь с восприятием великого человеческого большинства. Наверное, это одна из причин того, что мне выгоднее живется в неделимом и монашески нищем воздушном пространстве: в голубом или сером океане есть мощь уравнивания, растворения всех лишних красок – мне не надо смотреть на его постоянство чужими глазами. Порой мне кажется, что изо всех театров действий я предпочел бы Арктику, Нордполь сияющей, прозрачной пустоты.

Я не различаю сигнальных ракет – зеленых, позволяющих ловить пустую полосу, и красных, запрещающих посадку, – отчего процедура возвращения на землю для меня превращается в пытку, заунывную, как «Бисмилла» с минарета. Сегодня я не видел красных звезд на крыльях русских. Ну и что же? Разве это размывает их силуэты по моей безоружной сетчатке, размывает до неразличимости обведенные мной, словно бритвой, очертания их клювов, подхвостий, растопыренных лап, черепов, крыльев-эллипсов, крыльев-трапеций, обтекаемых, чистых, изящных и топорно сработанных тулов, пусть увиденных мной против солнца в зените. Дело в том, что мою относительную цветовую слепоту оплатили абсолютной прозрачностью – прозрачностью как высшим состоянием воспринимаемой среды и глазоаппарата, прозрачностью – свойством, присущим моему поисковому зрению в той же мере и так же законно, как отжатою из углерода высоким давлением алмазу. Увидеть угольную галку, глянец оперенья слившуюся с черной пахотной землей, зеленый самолет или жука поверх или среди такого же зеленого покрова – вот мое зрение, мой хлеб, мой способ пропитания. Две меры плотности и скорости – и зримое разделено, расщежено сетчаткой на добычу и расстояние-воздух до нее.

Как же забавны с этой точки зрения – моей – все насекомые потуги мимикрии, нанесение на самолетные плоскости драгоценных пейзажных узоров, идеальных для слитности с русской равниной, апельсиново-желтой Сахарой, норвежскими шхерами; как смешны шоколадно-песочный окрас африканских пустынников, сезонные белила, лягушачьи разводы, дубовые листья, голубой или серый испод самолетов для того, чтобы сделаться неразличимым на небе при взгляде с земли. Впрочем, кто сказал, что самолетные моды, равно как и наряды пернатых, предназначены лишь для того, чтобы скрыться, только для ослепления врагов, а не для устрашения и соблазнения? А все наши акульки пасти и мертвые головы, а

¹⁴ Feierabend (нем.) – «конец работы», кодовое слово пилотов люфтваффе, команда возвращаться на аэродром.

клыкастые звери и гады геральдического бестиария? Это ведь из тщеславной потребности быть не только замеченным, но и распознанным.

Мой органический изъян, однако, долго заставлял меня мертветь в предчувствии неумолимой выбраковки (ну и какая-нибудь пошлость вроде «отлучения от неба»). Но ОБЩИЕ критерии отбора семнадцатилетних мальчишек не выдержали. Во-первых, того, что зовется природой и предназначением, а во-вторых, опережающего все медицинские вердикты очаровательного сумасбродства моей матери, которая неутомимо потакала нашей общей с ней тяге ко всем видам скорости, покупая мне все, что возможно купить, для того, чтоб развить в сыне то, что купить невозможно. Так что к пятнадцати годам я кувыркался в воздухе, как голубь, так что нойкуренский отборщик Киттель, мой Хирон, легионер стального «Кондора», которого волновал только почерк, а не «это дерьмо», бритвой авторитета отрезал: «За такой пилотаж можно все простить, даже еврейство».

Чуть левее по курсу плывет Gartenzaun¹⁵. Сделав круг и поймав полосу, Дольфи первым начинает глиссаду, а потом и меня пробирает непереносимая дрожь: я трясусь на мослах, выпирающих из безобразной грунтовки, замираю на самом конце полосы и, откинув фонарную створку, выжимаю себя из гнезда. Наземная обслуга и свободные пилоты обшаривают, жрут мою машину врачебно-небрезгливыми (механики) и беспокойновосхищенными, какими-то страдальчески-испуганными взглядами (пилоты), как бы еще не понимая, что же они жрут и на запах чего им бы втайне хотелось сбежаться – победительной силы или видимой так же, как оспа, испещренной несметными пулевыми отметинами, измочаленной, загнанной слабости. А Гризманн, как собака к хозяину, тащит всех за собою ко мне, на ходу меня с остервенением расхваливая, словно белого кречета на соколином базаре, с непонятной двоякой интонацией то ли владельца сокровища, то ли, наоборот, холуя, торопящегося известить целый мир, что его господин всех сильнее:

– Я могу вам поклясться, ребята, что сегодня я жив только волею Господа Бога и Германа Борха!

Прямодушный вивер, он и вправду любит меня. Таково уж побочное действие обыкновенного смертоносного воздуха, таково наше дело, стихия – свежует человека изнутри и возгоняет любое человеческое чувство, расплывчатое, смешанное с прочими и наконец-то выделенное из раствора в своей первоначальной чистоте. Добывающий верткое мясо воздушный охотник много ближе к животному, чем к рефлексирующей твари с болезненно развитым самосознанием.

Кениг, Курц, Цвернеманн, знаменитый Баркхорн окружают меня, поздравляя меня с первым русским... тремя!.. с шутовским изумлением кивая и прицокивая языками. Как же смотрит Баркхорн – это взгляд рекордсмена, привыкшего первенствовать, он почуял дыхание в затылок, в глазах его затлело подозрение, что ему с этой самой минуты придется сверять свою силу с моей. Я привык к этой скучной сопутствующей своего бытия с истребительной школы в Нойкурене: вокруг меня уже тогда светился некий ореол – стремительного раннего развития.

Детям простолудинов, арбайтеров, грузчиков, вероятно, вдвойне трудно сжиться с моей даровою свободой: для них пилотская карьера явилась чуть ли не единственной возможностью пересилить, сломать предначертанность, просто вырваться из бедноты, не исчезнуть с земли, как их деда, бесследно и молча... И сейчас я почуял знакомое ожидание моей слабости, помутнения, промаха, краха. Успокойтесь, ребята, мы воюем в воздушном пространстве, здесь тесно не будет, здесь нельзя занять место ничье, кроме собственного.

– Три ивана за десять минут – в первой же заварушке, – говорит мне Баркхорн. – Вы пугаете нас, ваша светлость.

¹⁵ Gartenzaun (нем.) – «садовый забор»; на жаргоне пилотов люфтваффе – «родной» аэродром.

– Ну, я прибыл в Россию не девственником, – отвечаю ему.

На гастролях в Ливийской пустыне я никак не мог сжечь своего вожделенного первого – легкость первых бескровных побед в тренировочных каруселях со сверстниками слишком расхолодила меня.

– Выпьем, выпьем за Борха! – Меня тащат в «бар», если можно назвать так дощатый сарай из романов Майн Рида и Лондона, с фотографиями самых красивых старлеток киностудии UFA на стенах. Мы воюем с комфортом, немыслимым для сухопутных пород, – интендантская служба, как джинн из арабских сказаний, потрафляет пилотам во всем: в сарае подают «Реми Мартен» и белое вино из Мозеля и Пфальца.

Мы рассаживаемся за дощатыми столиками под сияющим небом, слышу лай моей таксы – дочь капризной Лулу и зарытого мной со слезами в садовую землю брюзгливого Хекслия, разлетевшись, врежется рыжей кометой в колени и, вскарабкавшись, как ластогое, на руки, смотрит мне в лицо полными осуждения глазами. Создание дивного уродливого обаяния, с темпераментной заднею частью и горестным сострадательным взором, Минки-Пинки – невиннейшее из пристрастий лощеного аристократишки, то ли дело мои сапоги, ослепительно-чистые неуставные рубашки из жаккардового полотна, форма, сшитая у неплохого портного, английская походная резиновая ванна, шеллачные пластинки с Бранденбургскими концертами и негритянским свингом Кэба Келлоуэя – подзапретной дегенеративной музыкой, за которую нынче гестапо разве что не расстреливает... Впрочем, думаю, что уже завтра эти парни начнут подражать мне во всем.

Солнце плещется, блещет, мигает расплавленным золотом в нависающем над головами черном листовенном кружеве, ветви рядом сгибаются под соблазнительной тяжестью восковых белых яблок и сизо-фиолетовых слив – мы в раю, промежуточной джанне, межполетном эдеме, молодые мужчины, от которых исходит терпкий запах здоровья и силы.

– Ну, что скажешь о русских? Если сравнивать их с англичанами, – говорит мне Баркхорн.

– И в крысином помете нет двух одинаковых. Я еще не готов к обобщениям, как ты понимаешь. Те, с которыми мы повстречались сегодня, имели приличные мускулы. Любопытный образчик агрессивного стиля, но, кажется, они вообще не понимают, что такое вертикаль.

– Куда им, – говорит Цвернеманн. – Они видят не больше бульдогов – только морду, в которую надо вцепиться, и хвост. Вирази да ужасные лобовые атаки. Ты, само собой, можешь представить себе мощь и плотность курсового огня двадцати наших «штук». А они идут в лоб. По-человечески это понять невозможно. Нет никакой свободы воли. Нет даже зачатков мышления приматов.

Цвернеманн – сын врача, за ученую речь и поистине хирургическое хладнокровие в драке заработавший в штаффеле прозвище Доктор. Он, должно быть, и сам бы продолжил отцовское дело и лечил электричеством возвратившихся с этой войны, но заразно-повальное увлечение этого поколения Luftkrieg¹⁶ потащило его из науки напрямик в вайль-им-шенбурхский планерный клуб Гитлерюгенда. О, да, мы взялись за штурвальную ручку едва ли не раньше, чем начали подглядывать за девочками в школьных раздевалках, потому-то и можем сейчас свысока отзываться о русских, англичанах и финнах.

– Скверно, если все так, – говорю. – Я все-таки надеюсь, что прилетел хотя бы на воздушную корриду – не на бойню.

– Да ну брось, граф, какая коррида? – смеется Гризманн.

¹⁶ Luftkrieg (нем.) – воздушная война.

– В России уже ничего ловить, – кивает Кениг. – На направлении главного удара мы взяли в плен полмиллиона русских. Schneller Heinz¹⁷ и фон Клейст показали большевистским баранам, что такое искусство войны. Их танки продвигаются в глубь русской территории быстрее, чем наши самолеты. – Мне кажется, что он с ленцой зачитывает нам сияющую в небе передовицу «Фелькишер беобахтер». – Пролетали сегодня над Уманью? Видели эту массу скота? Через месяц мы будем в Москве, и приказывать русским пилотам идти в лобовые атаки станет попросту некому. Жалко, парни, что мы угодили на юг. Мы, скорее всего, не увидим Кремля.

Я мог бы сказать ему о беспредельности здешних просторов, о простой арифметике «десять иванов на каждого воина фюрера», о том, что «русскому характеру прирождена способность к сильнейшему сопротивлению – не только в тяжелых, но и в невозможных условиях», как писал мой отец со свойственной ему категоричностью в докладе «этому ефрейтору», но мне кажется, что в этом райском саду нас с отцом все равно не поймут. Дети не в состоянии представить иного бытия, кроме вечного, смерти, кроме чужой, и поэтому я просто щурюсь на солнце, щекочу шелковистое брюхо собаки и любуюсь обводами своего самолета – золотыми сечениями, сплавом мессершмиттовской мощи, динамического совершенства и легкости, столь живых, что порою не веришь, что все это держится в смертоносной гармонии только игрой строгих математических формул: моторама, шпангоуты, стрингеры, лонжероны, нервюры, подкосы, стыковые узлы этой птицы и рыбы. Вот каким должен быть настоящий воздушный убийца. Я родился бы немцем только ради того, чем меня оделил Мессершмитт.

Дилемма эротического рода: «он» или «она»? Чаще всего мы называем свои машины просто «ящиками». Ну а как вам пронзенные стрелами кровоточащие упругие сердца на фюзеляжах с начертанными ниже или выше именами любимых, единственных девушек? У Баркхорна – Луиза, у Гризманна – Эдвига. Каждый верит, что будет жив в небе биением этого сердца, смертны только другие, те, кто не замечен удивительной Юттой, не избран поразительной Хильдой, а твоя бесподобная жизнь не должна и не может сгореть оскорбительно рано.

Я смотрю своей таксе в глаза – вот кто любит и ждет меня всей своей требухой. Я назову свою машину Минки-Пинки. А что с окрасом оперенья – узнаваемостью? Я сегодня убил, завтра тоже, скорее всего, сожгу кого-нибудь из этих страстных тугодумов, послезавтра – еще, но не буду распознан: все «ящики» издали одинаковы серы. Увы, после барона фон Рихтгофена, обмакнувшего свой «Альбатрос» в театральный багрец, невозможно придумать что-то более яркое, еще громче кричащее «Я!» В измерении больших скоростей все идеи выражаются грубо и прямо – или вам их не выразить вовсе. Красный цвет призывает, сигналист, ликует. Великие идеи – наша и советская – начертаны на красных транспарантах и знаменах – примагнитить и воспламенить, дать почуять любому, что он может вынести даже огонь. Кровь людей и животных красна. Проступив, брызнув, хлынув самой яркою краской серого дня, она кричит о самом важном, самом страшном – о мгновенном своем убывании: остановите! Была бы она голубой, бесцветной или желтой, как бензин, – никто бы не остановился даже посмотреть. В общем, я уже знаю, что будет на носу Минки-Пинки.

Я тщеславен и самолюбив? Так ведь даже последний крестьянин метит СВОЙ скот каленым железом. Столяры, ювелиры, механики, часовщики. Отец, к примеру, обозвал меня «воздушным дезертиром», мою войну – «убийством с безопасных расстояний в сознании своей неуязвимости». Неужели ты не понимаешь, сказал я ему, что твоя Мировая война была первой войной человеческих масс против масс, и ничьей исключительной воли ни в той, ни

¹⁷ Schneller Heinz (нем.) – «Быстрый Хайнц» – одно из прозвищ выдающегося немецкого военачальника Хайнца Гудериана.

тем более в этой войне быть уже не могло и не может? Только в небе, отец, человек может САМ решить ВСЕ. Теперь так: либо ты – фрайхерр в воздухе, либо кнехт на земле. Мне придется доказывать наше высокородие с нуля. Детям простолюдинов позволили сесть в самолеты, сказав: вы свободны, можно и не стоять за станками, прилавками, плугом, небо – ваш Новый Свет. В боевом небе заново начинают делиться мужчины, и одни навсегда пойдут вверх, а другие навсегда возвратятся назад. В наши летные школы разом хлынули тысячи пролетарских и мелкобуржуазных детей, пожелавших с дарованной скоростью вырваться из земляной нищеты, из потомственной низости и безымянности, и они будут драться за это со мной, во всю мочь стиснув жвала.

– ...Я хочу видеть девочек, – жмурится Курц по-кошачьи. – Между прочим, среди украинок попадаются очень красивые – что твоя Ильзе Вернер или Лида Баарова.

– Должен вам заметить, обер-фельдфебель, что вступать в отношения со славянскими бабами не только недостойно немецкого пилота, но и крайне опасно, – пережевывая яблоко, изрекает Баркхорн. – Вам что, не говорили, что большинство этих бабенок якшается с красным подпольем?

– Да плевать мне на доктора Геббельса и его Rassenschande! Я – солдат и хочу получить местных девок по праву! Осквернение крови, вырождение расы... Да знаете ли вы, что если повязать голштинскую кобылу с зеброй-жеребцом, то жеребята у них будут полосатыми? То есть генетические признаки передаются от самца, а не наоборот. Если уж говорить о смешении кровей, это я поработаю на улучшение местной породы. Ну а вы что нам скажете, ваше сиятельство? Не хотите попробовать местного мяса?

– Для начала я просто взглянул бы на них, а потом, может быть, и забыл бы о крови.

– Вот вам ответ мужчины, а не расового кастрата! – Курц шлепает по моему плечу с такою силой, что Минки-Пинки на моих коленях вздрагивает.

– Ну, это слишком, Курц, – кривится Цвернеманн. – Ты хочешь девок – да пожалуйста, если ты не боишься гонореи и прочей заразы. Никто из нас о твоём блядстве никуда не донесет, но, черт возьми, ты потешаешься над теми, кто дал немецкому народу осознать свое высокое предназначение через расовую истину.

– Получается, доктор, у вашего члена одни убеждения, а у мозга другие, – сказал я. – И если арийская кровь отливает от вашего мозга, то вы становитесь... о, ужас!.. недочеловеком.

В голове Цвернеманна взорвался вечный двигательный элемент.

– Как прикажете вас понимать, ваша светлость? – цедит он ледяно, отчужденно, не слыша взрывов общего хохота. – Не могли бы вы мне сказать прямо, существуют ли вещи, на которые вы не посмели бы распространить ваш похабный сарказм?

Я показываю пальцем в небо:

– Вот та область, в которой я шучу свои самые злые и обидные шутки. И мне кажется, что фюрер тоже смеется.

3

У людей никогда не задействованы с предельной заостренностью все пять человеческих чувств одновременно. Замирая под черным квадратным магнитящим раструбом, из которого льется: «...вели ожесточенные бои, удерживая город...», целиком обращаешься в слух. Когда поедает горячую кашу, тем более после законченной трудной работы, тем более уж с голодухи, тогда и зрение, и нюх, и осязание лишь помогают вкусовому восприятию. Когда сапер глубокой ночью обезвреживает мину, запуская свои руки-щупальца в землю, ощущая шершавое дерево или гладкую сталь, распознавая тип немецкого гостинца и вывинчивая из машинки взрыватель, для него все живое и мертвое сосредоточено в кончиках пальцев.

Принадлежащий царству мысли человек, склонившийся над чертежом, партитурой, короткими строчками в столбик, глух и нем, как голодный, вцепившийся в хлеб, вообще умирает для мира; если он что-то видит и слышит – то видное или слышное только ему, то, чему нет подобия и пока нет названия. Когда ты с женщиной, все чувства отнимаются, обрываются вместе с дыханием, глоснешь, слепнешь, пустеешь от набатных ударов огромного сердца, которое застит весь свет; в мерклом этом, мигающем, раздающемся свете качается и двоятся ее нагота, приникает к тебе и палит – это если впервые или если с одной, тою самой, получившей, как только явилась, всесильную власть над тобой.

Зворыгин был с машиною как с женщиной, и все пять его чувств заострились до болезненной крайности. С его ладоней и ступней как будто драчовым напильником или рубанком снимали привычную, толстую, скотскую кожу, и он соприкасался с педалями и ручкою не кожей, тем более не мертвыми подметками собачьих бурок или яловых сапог, а как будто ошкуренным телом и голыми нервами.

Он ощущал вибрацию мотора, передающуюся всей машине от капота до хвоста, скоростной поток встречного воздуха, пустотную легкость и сытую тяжесть своих крыльевых бензобаков, шаги винта, прозрачного в своем остервенелом тяговом вращении, барабанную тугость перкаля, напряжение фанерной обшивки, листового дюраля, железных костей и – с особенной, как бы зубной, позвоночной, сердечною болью – драгоценные, нежно-непрочные, проводящие волю Зворыгина тяги рулей. Все это он воспринимал одновременно, и все другие чувства в нем не подавлялись предельным напряжением осязания. Сквозь густой, замуровывающий рокот своей силовой установки слышал он голоса самолетов чужих – все моторы врагов различались по тембрам, хотя где ему было тягаться со служившим в зенитном расчете слепым слухачом.

Видел он много дальше. Это было важнее. Беспреданно вертеть головою, походя на клювастую птицу, в зрачке у которой как будто помесь гнева со страхом, оттого что она никого еще не разглядела, потеряла поживу свою. Пробирать пустоту своим смыслом, как холод пробирает тебя самого до костей, а вклевываясь в крылатую точку, ни на миг уже не выпускать, как бы ни вибрировала она.

Он как будто бы даже улавливал верхним чутьем льдистый запах чужого спокойствия, то растущий, то вянувший запах чужого угара, возбуждения, бешенства, немощи, проступившей испарины, страха, ощущая за миг до того, как убьет, даже будто горячий рассол человеческой крови во рту.

С наждачной жестокостью шкуруил дубленую морду сухой, острый ветер, задувший в кабину на тысяче метров, морозной волною катил по рукам, но тело просило еще и еще проточного чистого вольного холода. Пять сверхскоростных, норовистых, недавно обьежженных «аэрокобр» приладились в пеленг к нему и, растягиваясь давнишними парами по этажам, построили то, что Зворыгин придумал.

Под ними тянулась весенняя степь: скопления блиставших на солнце железных и серых соломенных крыш тонули в оснеженных цветом садах; как будто плошки с рисовою кашей были опрокинуты и вытряхнуты там, где зацвели миндальные деревья, яблони и вишни; зеленое свежее, нежное пламя давно охватило древесные кроны, черно лоснилась сытная кубанская земля – видение земного рая, да и только. Земля звала к радости – с такой необсуждаемою силой, что нельзя уже было ни постигнуть умом, ни восчувствовать, что идут они над этим чистым, ослепительно-снежным цветением жизни в горнило. Потому и захлестывала, как хорошим ременным кнутом, молодое брыкливое сердце ликующая красота бытия, что любой из них мог быть сегодня убит.

Засверкала по правую руку раскаленным припоем Кубань, разливаясь по всем своим плавням, протокам, шириясь до неоглядности моря, а налево, на самом краю окоема, засинели Кавказские горы – воевать над такой величавой, торжественной, подавляющей красо-

той тоже было как будто немыслимо. Минувшей осенью Григорий, дотоле выдавший Казбек только на папиросных коробках, впервые узрел снеговые слепающие складки Кавказских хребтов: что такое была вся война и вообще человек перед их неприступным молчанием? Это был продолжавшийся миллионы лет каменный шторм, и немая торжественность гор проломила Зворыгина, на кратчайшее дление он испугался, что все, чем он жил, с этой самой минуты для него навсегда потеряет значение. Но уже через миг проскочила в мозгу его искра, как всегда при вхождении в пространство, где все подчиняться должно одному лишь закону – мгновенности отклика. Слишком он засмотрелся на нежные очертания этих громад: созерцающая земную красоту на лету, нипочем не создашь в небе собственной.

Впереди, на двенадцать часов, забелела садовая кипень богатой станицы, завиднелись скопления крыш, серебристые нитки железнодорожных путей – стратегически важная ветка фронтовой кровеносной системы.

– «Букет», «Букет», я «Мак-один». Выхожу на работу... Начинаем нашу утреннюю гимнастику, товарищи. Прибираем обороты. Бросаем вниз свой аппарат послушный... – Поташил свою стаю в пологое скоростное снижение на Крымскую. Разогнав под воздушную горку машину, можно залпом набрать высоту – без надрыва мотора, не сжигая горючки до черта.

В направлении на десять часов, тридцать градусов ниже четверка фиалковых «ЛаГТов» малахольно водила хоровод над железной дорогой – по большому, едрить мать их, кругу, на маленькой скорости, подставляя на целую вечность под солнце хвосты: нате, «мессеры», кушайте. И ведь кто-то же им предписал непрестанно кружить над объектом на самой короткой цепи, прописал по разряду советской истребительной классики – карандашные души, гранитные жопы, утонувшие в топи заоблачных толстокожих диванов, век уже не выдавшие сущего неба. Подавай продолжительность пребывания в воздухе им, в экономии топлива соревнование у нас. Вот чего они видят? Каков их охват? Комариный. Построение ступенями – лестницей, убегающей от вожака одновременно в сторону, вверх и назад, – позволяло любой истребительной стае нарастить ширину, высоту, глубину поисковых охватов. Их сейчас только шестеро. Два десятка охотников могут обозревать общим духом пространство великое: ни одна, даже самая хитрая тварь не найдет себе сектора, этажа для вольготной, невидимой жизни.

Разлетевшись под горку, обратив все законы динамической физики на разгонную пользу себе, пробивая воздушную толщу, как гиря стенобитной машины, шесть зворыгинских «аэрокобр» разве что не сгорели в качельном пролете над станцией. Раскачался зворыгинский маятник. Обращались назад боевым разворотом, пять отложенных от вожака и сгустившихся в материальную силу теней, и на третьем заходе на станцию полыхнула под ними картина «Не ждали». Шуганутые взрывом братишки встали в оборонительный круг и вертелись как будто под незримой бетонной плитой, а вокруг них, над ними с острым звоном ходили «худые».

– Всем стоять по своим этажам. Атакую. Поярков, прикрой.

Завалившись в пике, он почти что отвесно упал на распластанный на воздушной реке «мессершмитт» – в то мгновение, когда немец всем существом, торжествуя, вклеился в увертливый хвост потерявшего место в кругу одинокого «ЛаГГа».

Восходящим буранным напором «мессер» вырос в своей ширине и длине, показав россыпь мраморных пятен на гладком обтекаемом теле, плоскостенный свой череп-фонарь и прямые кресты на огромных, перекрывших всю землю Зворыгину крыльях. С холодной, спокойной, здорово ненавистью, отводя, выпуская в обломном падении душу, Зворыгин разрезал его по продольной оси, плескнув в него из крыльевых пулеметов в упор – в распутившую черный клубящийся шлейф головню, в распутившийся факел, – и казалось, не мог уж не вонзиться в него, как метляк, что летит напрямик в ослепительный круг кероси-

новой лампы, но хватил на себя замертвелую ручку, вынимая машину из пламени взрыва, уходя круто вверх с такой резкостью, что посмерклось в башке и не сразу пронырнул сквозь свинцовую темень.

Немцы дернули ввысь, да куда там – выше трех широченных ступеней зворыгинской лестницы? До последнего мига незримая верхняя пара истомившихся «аэрокобр» ударила влет: восходящий в зенит желтоносый худой в верхней точке надрыва настиг свою смерть, потерял законцовку крыла, оперение и, заныв, словно раненый лось, устремился по широкой спирали к земле. Ахмет-хан подорвался в угон за подшибленным третьим, но, как водится, от нетерпения мазал.

– Ну-ка брось их, Султан, брось, сказал! Пусть уходят! Кто мне бомберов, бомберов будет встречать?

И опять закачался их маятник – колокольный язык, а вернее, летучие грабли, метла в накрывавшем железнодорожную станцию колоссальном невидимом куполе. Прожигали горючку в пустом, и никто все не шел и не шел: видно, те, кому врезали и отогнали, на обратном пути упредили своих: не ходите сюда. Поди, уже во всех наушниках про него вой стоит: «Ахтунг! Ахтунг! Над Крымской – Зворыгин!» И тотчас оборвал себя от омерзения: ишь ты как, поросычье рыло, превознесся в себе? Как горели за милую душу, забыл? Про Тюльпана забыл? Пусть вот эти «худые» сейчас развалились за четверть минуты, но есть и другие. Здесь он, здесь, где-то тут.

До последнего времени никто ничего о Тюльпане не знал. Но вот в декабре сталинградского 42-го слухачи-перехватчики наши впервые поймали в эфире – отделили от прочего драгоценного радиомусора – имя. Как хорошим ременным кнутом, жестким витнем волчатки хлестнуло – Борх! Борх! Вот кто нас убивает так много и с таким превышением. А потом он, Зворыгин, со своим парнями скараулил под Манычем пару худых: Ахмет-хан запалил одного в ту минуту, как сам он, Зворыгин, придавил ястребиным угоном второго к земле («Ну-ка, братцы, второго не трогать, мы сейчас отведем его в стойло, в стойло для изучения»); Лапидус и Поярков немедленно сдавали совершенно беспомощный «мессер» с боков и повели под белы ручки на посадку.

Впрочем, немец вот этот и не думал откручиваться, с непонятной какой-то покладистостью оставаясь в прямом малахольном полете и даже всем видом выражая намерение сдаться, оказавшись не фрицем – словаком. Как птенец из яйца, он полез из кабины, умоляюще вскинув дрожащие руки и заглядывая русским в глаза с облегчением и собачьей надеждой: «Пригожусь! Послужу!» Начал с радостным пылом вываливать: да! есть такой Герман Борх, не сходящий с плакатов и белых полотнищ проекторов. Личный счет его – двести – задохнувшись и сжавшись – самолетов Советов. Много, много крестов, и железных, и в золоте. Ну, так точно не знаю, был гауптман, капитан то есть по-вашему, номер части JG-52, командир есть экспертного стаффеля, все там лучшие, всем вам наделали много беды. «Без тебя, дефективного, знаем. Сам ты видел его, как меня, говори!» – вот совсем уж вопрос полоумный, из невыпаренных суеверий. Точно так, видел раз. Мы же были соседями. О! Три механика там у него одного, чуть не кровью своей вместо масла цилиндры промазывают, до сияния ветошью «мессершмитт» натирают, на капоте цветок красной краской через день подновляют и белой каемкой подводят. Что бы он ни потребовал, все доставляют ему из Берлина: и вино, и коньяк, и табак, даже девок привозят для него расфуфыренных. Сам-то он? Без рогов, без копыт. Молодой, роста среднего и худой, как борзая. Всякий спорт очень любит, футбол – сам в ворота становится, кошку прыгает.

И с отчетливой силой пахнуло знакомым, человеческим запахом потного тела, каустической соды, машинного масла, и Зворыгин подумал, что его-то Семеныч стоит трех педантичных немецких механиков и толпы заносящих вот этому Герману хвост холуев, – вот уж кто, волосатым зверским ухом ловя в слитном шуме мотора ничтожные хрипы и стуки и

вибрируя от сострадания к машине, все отлизет и высосет из забившихся патрубков, удалит маслянистую грязь и нагар, кислотой протравит все трещинки и надраит железо до священного блеска. И подумал еще, что и он ведь, Зворыгин, футболил до самой войны. Но это ничего не объясняло, только делало немца еще непонятнее...

Самолет подрожал на мослах земляной полосы, и Григорий зарулил в свой квадрат. А там уже стоял, как будто никуда не уходил, зворыгинский Семеныч. Чугунного литья, с морщинами любовной нежности к машине и злобы на всех «лесорубов, а не мотористов», допущенных к ней.

– Семеныч, мне в воздухе жить неудобно, – сказал ему Зворыгин. – Там, в Америке, видно, какие-то не такие живут. Гашетки у них на каких-то трехруких дикобразах рассчитаны. Иди сюда, смотри. Мне предлагается фашиста кушать с ножиком и вилкой. Причем одной рукой. Я же левой не яйца чешу, а вот так, на минуточку, сектором газа орудую. Так ты выведи мне пулеметы и пушку вот на эту гашетку одну, пулеметную. А я тебе за это бочку СОЖ, американской. Сверх нормы, с ГСУ, ты меня знаешь.

– Да не мне ты – себе, – огрызнулся Семеныч. – Вы же выпили все, вы же все, что машине положено, черти, в себя заливаете. Как еще только держитесь в воздухе.

– Ну так на том и держимся, Семеныч, что приняли вовнутрь. Единственно на верности идеям коммунизма.

– Зворыгин где, Зворыгин? Таарщ капитан, приказано вам в штаб.

Он двинулся вдоль строя стремительных литых «Аэрокобр», и женственных, и хищных одновременно, так сразу полюбившихся своими очертаниями, сиявших, как купальщицы загаром, американской бронзовой краской, представляющих новую стадию приближения к живой, шлифованной естественным отбором кривизне, к тем гладким рыбьим формам, к тем ладным птичьим профилям, что более всего годятся для свободы пребывания в двух родственных стихиях, водной и воздушной. Мечта и мысль человека о полете, начавшаяся с махолетов, этажерок, способных оторваться от земли, казалось, только силою противоречия меж молодой наивной страстью и законами природы, теперь уже приблизилась к тому, что каждому безмозглому стрижу дано было природой изначально.

Только вот посади в эту «кобру» чурбана, и вся сила ее, все моторное буйство обернутся без жалости против него, в сей же миг обеззучат и закрутят к земле. Ох и многие вознелюбили норовисто-коварную американку, ох и многие этой зимою срывались на разбалансированных, перекошенных задней центровкой «кобрах» в уродливый штопор, и горели в позорных воронках народные сотни тысяч рублей с размолоченными летунами.

Вот он, заокеанский ленд-лиз: «киттихауки», «аэрокобры», «спитфайры», светлый авиационный бензин, солидол, глизантин, легко берущие любую гору «студебеккеры», вездеходные «доджи» и пятидесятитонные «даймонды»... но с особенной силой, заглушая все прочие «ахи» и завистливые «эх, умеют», привлекало людей продовольствие – после жидкой-то пшенки-блондинки, сухарей да прогорклой черняшки.

Потекло, повалило, запенилось пароходами переправляемое через Атлантику: американская белейшая мука в полотняных мешках с трафаретным орлом, сало-лярд для намазывания на получавшийся вот из этой пшенично-кукурузной муки белый хлеб, ветчина в плоских банках небывалой красоты со специальным консервным ключом для наматывания жестяной гибкой ленточки (открываешь такие – как будто заводишь часы, а то и обезвреживаешь мину, боясь перекрутить пружину и взорваться), концентрированное молоко, яичный порошок в фольгированных пакетах, какао, шоколад, которые волшебным пахли Индией и Мексикой, тушенка, «свиная тушОнка» – многократно отмеренная, пересчитанная и раскраденная тыловыми руками перед запуском в летный котел... а коли так, решил пронырливый, непогрешимым нюхом на съестное наделенный Ленька Лapidус, надо не дожидаться у пустого котла, а самим кое-что ухватить по дороге.

Лapidус был Чигориным, Капабланкой меняльного дела. В феврале 43-го года их загнали в Баку – переучиваться на заморские «аэрокобры», – и на этом великом торговом пути Лapidус развернулся вовсю: толкнул на базаре три списанных парашюта родной эскадрильи, которые обязался доставить на склад МТО. Довоенного-то образца парашют – пятьдесят метров чистого шелку! Весь Баку через день щеголял в парашютных рубашечках-бобочках.

Словно ждала, выглядывала Зворыгина, навстречу из палатки выпорхнула Зочка с какими-то «секретными» листочками в руках, с гримасой озабоченности: дело! неотложный вопрос общей пользы, от которого тотчас зарделась до вишневого цвета. Губы словно недавно прорезали, и они не успели зажить, надави – брызнет сок, на фаянсовый лобик спадают спиральные кудри самодельной завивки, перетянутая на последнюю дырочку талия и – точно два круто выпуклых розовых пламени, распирающих синесуконное сопло, – молодые ядреные ноги в обливающих икры сапожках. Да уж, вправду «бери не хочу», да еще сколько зочек гомозилось вокруг – машинисток, связисток, поварих, медсестер, подавальщиц, – а Зворыгин пластался на койке или голой земле в одиночестве.

Желание никуда не делось, но теперь имело только один образ. Выходя на работу, он не думал, конечно, уже ни о чем, кроме собственной воли и власти убить, и во сне все выкручивал и давал от себя до предела штурвальную ручку или просто чугунной болванкой погружался на топкое дно и о Нике, казалось, не помнил совсем, только вдруг среди ночи ли, ясным ли днем, словно яблоко с ветки, обрывалось в нем сердце. И ведь не было, не было в этом копытном ударе простого и ясного «ждет» – берегущей, спасающей силы ее ожидания, не способной ослабнуть, как в стихотворении Симонова, напечатанном в «Правде» сталинградской зимою и тотчас переписанном всеми фронтами от Кавказских вершин до Полярного круга. И какой-то живущий в Зворыгине, как в коммунальной квартире, двойник говорил ему, что не только не ждет его эта необыкновенная девушка, но и помнить Григория не нанималась. Ухватил ее за руку он своевольно, насильно, случайно, и ничто от нее к нему не перекинулось, ни с какой, даже самую малую силой не толкнулось зворыгинской крови навстречу, и дело вовсе не в расстояниях и не в желтых дождях, не в осенней распутице и не в общенародном «не время». С нею он даже не разлучен – отлучен, чужеродный совсем человек, изначально не нужный, не тот, не по ней. Ничего у них быть не могло – у такого, как он, с редкой гостьей солдатского, вообще человеческого мира, которая на него совершенно случайно обрушилась, а теперь уж давно – справедливо – чужая жена.

Ведь не пишет ему уже вечность. Пишут семьдесят девять ткачих, фрезеровщиц, станочниц. Молодые артистки театра Вахтангова. Рекордсменки Тамара Круглыхина и Мария Распопова шлют Зворыгину теплые вещи – у него уж музей этих теплых вещей и горячих приветов, – а Ника от себя его, дурня, отрезала, с той же точно врачебной жестокостью, что и скальпелем – шмат загноенного мяса. И все тот же цинический голос-подлец говорил, что она, как и все в лихолетье, устроилась жить, зная, где ей намазано медом, и пойдя, благо штучный товар, в генеральши; все они одинаковы, всем им нужно одно, а тем более этой привыкшей к удобствам профессорской дочке; говорил о растущей доступности женщин: а на кой ляд теперь бабам вешать замок, если замуж выходить стало не за кого, если всех, считай, стоящих, да и нестоящих мужиков покосило, а тому, кто пока что живой, уцелеть тоже мало надежды. Уж за них, фронтовых, – все равно что за холмик земли, похоронку, что придет через вечность в ответ на умение ждать, как никто. А в тылу – дипломаты, артисты, партработники высшего ранга, а у девушек, только вступивших в весенний размах, разбухают желания; голос женского их естества подавляюще властен: понести, разродиться надо им не потом, а сейчас, не оставшись навек пустоцветами, – и, конечно, они в этой тяге своей неповинны и неосудимы.

Понимал хорошо, над собой, дуралеем, смеялся, только с первой минуты, как увидел ее – пусть и силою самообмана, – Ника стала участницей всей его жизни. И она была с ним: и когда он вколачивал в мозг командармам идеи своих этажерок и маятников, и когда налегал на расстеленную на крыле иссеченную карандашами полетную карту, и когда проходилась вдоль строя двухмоторных дюралевых ящеров, непрерывными трассами выдирая у них из боков жестяные куски, и навстречу летели лоскутья обшивки и целые крылья с продолжавшими туго вращаться винтами моторных гондол, и машина его от разрывов дрожала, как лошадь. Запевая в эфире любимые песни, он с шаманским усердием взвинчивал веру, что Ника безотрывно за ним следит и как будто им даже любит.

Он толкнулся в проем блиндажа в пять накатов, пригляделся к фигурам и лицам под керосиновой «летучей мышью» и с досады чуть не вlepил по ляжке кулаком: Савицкий! Дивизионный начполитотдела, – как уж тут без него? Это рухнет весь фронт, обессилеют все руки-крылья без пламенного партийновоспитательного слова!

Началось все с Тюльпана и гибели Петьки Луценко. Савицкий уклонился от собачьей свалки и бежал. Машина была в совершенном порядке, а сам он не ранен. Тюльпан распорол бы троих таких, как Савицкий, играючи, и потому окостеневший от позора и бессилия Зворыгин не ощутил желания ударить. Не поднимая на Савицкого упертых в землю глаз, отчужденно и глухо сказал: «Товарищ капитан, я с вами летать больше не буду». – «Ты-и-и что это, Зворыгин? Ты думаешь, я струсил?! Ты думаешь, я, коммунист, товарищей бросил в бою? Я драться не мог! У меня пулеметы заклинило!» Бесстрашный, вызывающий, упрямый взгляд Савицкого и страстная потребность в самооправдании, которая звенела в его голосе, разъярили Григория: «Кишку зато прямую не заклинило».

Уязвленный Савицкий написал той же ночью в Особый отдел, что Зворыгин поносит священный институт комиссарства, заявив, что «с такими комиссарами он... не сядет, а не то что летать».

Зворыгин его даже не презирал. Пулеметы заклинило, дрянь? Будто это мешало ему повисеть у «худых» на хвосте и хотя бы немного сбить ублюдкам прицел, равновесие. Может, несправедливо, наивно было требовать от человека того, что ему не по силам, что ни жильною тягой, ни духом ему не поднять, только сам же Савицкий вещал, что любой истребитель обязан довести себя до совершенного самозабвения и пойти, если надо, на воздушный таран. А какими стихами газету «Красный воин» заваливал: «Наше алое знамя родное, я клянусь тебе чистой душой: только в сердце раненье сквозное не позволит идти за тобой!» Как начнет сейчас без передыху молотить языком: ни одна чтобы черная бомба не упала нашу советскую землю... Ну уж нет, комдивизии Дзусов заткнет – вон сидит в уголке, обращенный к Зворыгину острым бугристым затылком бритой наголо иссиня-желтой костяной головы.

Над застеленным картой столом нависали стоймя все комэски: Подобед, Шаповалов, Боркун. Навалившийся пузом на стол и державший карандаш, словно скальпель, крупнотелый квадратный комполка Неудобнов, на мгновение вскинув глаза на Григория, обрубающе только махнул на зворыгинский стук каблуками и «таарщ подполковник». И Зворыгин, втолкнувшись промеж гимнастерочных плеч, тоже впился в знакомую крупномасштабную карту, цепким глазохватом вбирая извилистую, узловатую вену реки, пятна множества непроходимых болот и лиманов на севере, одеяльные складки ландшафта на юге, все советские красные и немецкие синие заштрихованные вакуоли и реснитчатые полукружия. Словно взмыл надо всею кубанской землей, заскользив над гребенками непрломной железобетонной долговременной оборонительной линии немцев, за которой горел краснотой, как нарыв, наш десант, что уже третий месяц держался зубами за плацдарм у Мысхако.

– Месят наших ребят круглосуточно. Еще чуть – и схарчат вместе с берегом. Командованием фронта принято решение нанести тремя группами бомбардировщиков кучный

удар... Значит, действовать вам предлагается так: Подобед со своей четверкой прикроет непосредственно «пешки». Ты, Зворыгин, выходишь на расчистку дорожки. Но смотри, я тебя, забияку, изучил как облупленного – отогнал и назад, все свои стародавние счета со всякими расписными забудьте. Лучше ты никого не сожжешь, чем хотя бы один бомбовоз потеряешь. Отметались – и сразу уходите над Цемесской бухтой на Геленджик.

Благодатным партийным огнем опаленный Савицкий на пределе внимания слушал, заноса в свой блокнот имена называемых летчиков, иногда не выдерживая и разя своего оскорбителя, «атамана казацкой ватаги» и «кулацкого сына» Григория, ножевым взблеском злобно-боязливого взгляда. Что-то неизлечимо больное ощущалось в его нескрываемой и неослабной потребности опустить до земли превознесшегося, потерявшего страх от сознания собственной силы Зворыгина. В тот ли день, как Тюльпан сжег отчаянно-глупого Петьку, а Савицкий не смог воспротивиться ужасу перед «не жить», много раньше ли этот плечистый рыжеватый красавец ощутил себя в воздухе совершенным ничтожеством, ощутил: бесполезно вымаливать у природы способность убить настоящего немца. В том и дело, что Виктор Савицкий был сперва замполитом *летающим*, да вот только не вытанцевал в плясках смерти с «худыми» ничего замечательного, жал, давил из себя то, чего в него вложено не было, и сумел нацедить на полдюжины «юнкеров» в группе и четыре подбоя на семьдесят вылетов, а потом уж пошел вверх по линии соловьиного свиста «Клянемся!». А Зворыгин гремел по фронтам – образец для отливки всех сталинских соколов, чей портрет и взмывающий над черно-дымным хвостом подожженного немца победительный «Як» красовались на стенах во всех летных школах от Архангельска до Ферганы: «Будь таким, как Зворыгин!» Как же было такое стерпеть? Отчего не сбылось – «Будь таким, как Савицкий»? Потому-то, наверное, он и писал на Зворыгина: «Самолеты советских конструкторов прямо называет говенными, восхваляя при этом машины фашистские; баламутит свой личный состав, принося достоинства тактики плотного строя; поощряет в своей эскадрилье казачью вольницу, половую распушенность, пьянство, поборы, воровство продовольствия у населения».

Зворыгин его даже не презирал. Он давно уже понял, что сейчас даже самого никудышного летчика гробить нельзя. Никого не жалеть можно только на фронте, а на фронте они в своей массе и сами не жалеют себя.

– ...Есть вопросы, товарищи?

Он уже повернулся на выход – и застрял, остановленный окликом разлепившего губы комдива.

– Зворыгин, – застоявшимся, сиплым, придавленным голосом, – сколько вы отдыхали?

Человек этот знал, что Зворыгин четвертую кряду неделю живет в перегретом, перенаселенном самолетами воздухе, что Зворыгин физически создан как раз для такого надсада, но все-таки он железный не весь; что такие, как он, очень долго не гнутся, а потом в одночасье ломаются. Человек этот знал о разбитом пилотажной работою теле, утерявшем то главное, что его берегло, – проводимость всех членов, неослабный и бесперебойный озноб, что верней и быстрее всего сообщает, какой эволюцией можно спастись; что ребята зворыгинской эскадрильи измаяны, что сейчас над плацдармом Мысхако решается «все» и что если Зворыгин живой, при обеих руках и ногах, то послать туда надо Зворыгина.

– А Тюльпан-то твой здесь, слышал, верно? Проявил себя под Молдаванской. Поклевал сорок пятый гвардейский. Солнце сразу забрал, ослепил и – как в тире. – Дзусов, выбравшись из блиндажа, запрокинул сухое лицо к беспощадному ясному небу, точно глядя в пустые следы тех, кого исключительный немец пожег. Дернул бритой своей головой и уперся в Зворыгина взглядом человека, который каждый день посылает три сотни крылатых на смерть. – Ничего, капитан, легче вам будет встретиться с ним, чем не встретиться. Мы тебя в перевес на качели с твоими орлами, а барон фон Рихтгофен – его на весы. Ты, наверное, слышал,

весь ихний эфир прямо так и вибрирует: «Ахтунг! Зворыгин ист ин дер люфт!» По полету тебя узнают. Может, ты себе тоже фюзеляж размалюешь?

– Я бы нарисовал, – рубанул он ладонью по сгибу руки. – Никакой немецкий герр не опустит русский хер.

– Шутишь, значит. Похвально. А то мог бы распухнуть от самодовольства: впереди тебя воздух дрожит. А когда самомнение зашкаливает, начинается что? Впрочем, зря я с тобой об этом. Забудь. Без него одного небо нашим не будет. – И, насунув фуражку, пошел к своему плосколобому «виллису», ничего не могущий в Зворыгина более впрыснуть.

Глядя в хвост генеральского зверя, Зворыгин провалился в себя и как будто простукал себя изнутри. Про Тюльпана он вправду порой забывал. Стало не до него: караванами шли, эшелонами на Краснодар двухмоторные «юнкерсы», ошетиленные круто задранными и торчащими книзу трещотками, с косяками стремительно-зорких своих прилипал, «мессершмиттов» прикрытия, или крупные стаи увертливых штурмовиков с ненавистно-привычными ревунами в нутре, и несло над землей нестерпимое штопорное завывание иерихонской трубы, проникая до мозга костей и вворачиваясь в требуху помертвевших солдатиков, всею мочью вжимавшихся в землю, молясь, чтобы сжалилась та над сиротской, беззащитной их малостью. И Зворыгин служил им защитой, заходя с превышением на караван и обрушиваясь соколиным ударом то в лоб, то в затылок ублюдкам: вот уж где и когда лютой стужей закипала башка – в шерстяном, паутинистом, огненно-сетчатом небе. Двадцать семь, тридцать шесть хвостовых пулеметов лупили навстречу. Проходимый секундной стрелкой неделимый отрезок – вот и все твое время на то, чтоб продеть ястребок, точно нитку в ушко, между швейномашинными трассами. Только четверть минуты бурового падения переменного профиля, сотворения верных угловых скоростей. Рукоять на себя – и заход на вторую девятку, караван, эшелон... Оглядишься в воздушном забое – вон еще одна крупная стая, и уже голод стреляных гильз, изо всех эскадрильных стволов все повыплывано. Ну так что ж? «Только в сердце ранение сквозное...» Как бы ни холодело внизу живота. «Ну, ребята, подействуем на хулиганов психически?» И навстречу грохочущей, слитой из самолетов, неуклонно и неотвратно наплывающей массе – как один человек, в лютой радости, в ясном чувстве, что их подхватила и несет справедливость всех русских. Где уж тут было помнить ему о Тюльпане?

4

Воздух ясен, как в дни сотворения мира. Двадцать семь наших «штук» держат курс на шахтерский городок Павлоград – мы зигзагами рыщем над ними, квартет «летающих волков» под управлением гауптмана Реша. Земляные упертые русские будто бы просят: еще, больше, больше валите на нас ваших фосфорных бомб и фугасов, – и которые сутки подряд хлопотливые руки обслуги вынимают из ящиков новорожденных гремучих младенцев; непрестанно ползут по рулежкам и грузно поднимаются в небо мастодонты эскадры «Эдельвейс» или «Гриф», мясники, дроворубы, косильщики знаменитой 2-й Schlachtgeschwader¹⁸.

Косяками тунца низвергаются бомбы, по невидимой нитке, отвесу обреченные кучно упасть на ничтожный клочок скучной серой земли, перечеркнутой тонким перекрестьем прицела, похожего на сильный лабораторный микроскоп, сквозь который наводчик наблюдает разумную жизнь насекомых или даже колоний бактерий. И земля содрогается, словно исполинский ублюдок рвет ее изнутри, словно мы только будим изначальные силы, уснувшие в ней, провоцируем роды хтонических чудищ. Бревна, доски и щепки расколотых взрывами хат, невесомые ворохи старого камыша и соломы – все, что было богатой или бедной

¹⁸ Schlachtgeschwader (нем.) – штурмовая эскадра.

деревней, подымается ввысь на подушках огня и неистово крутится, парусит и парит над землею в потоках горячего воздуха.

Порой мы ничего не видим с высоты – только дымную мглу, только аспидно-черное, стариковски седое тяжелое облако праха, который все никак не вернется на землю. Может быть, для кого-то высота – это что-то вроде зрительной анестезии. Высота как бы хлороформирует наше сознание: криков «Мамочка! Больно!» не слышно. Впрочем, думаю, в массе своей наши бомберы не подымаются – или не опускаются – до подобного способа думания. Ощущения мастера, занятого повседневной, любимой работой. Ощущение себя вседержителем, который одним мановением стирает с земли человеков, словно ветхозаветный Господь.

Во многих смыслах летчик – избранный: нам никогда, к примеру, не изведать, как страшна окопная могила, придавленность всем весом рухнувших домовых этажей, хотя участь летчицких тел по-своему ужасна и завидна только тем, что для нас зачастую все кончается мигом – мы почти что свободны от муки телесного приготовления. Меня порою забавляет мысль о том, как мало может сделать для своего спасения земнородный немец или русский, – меньше, чем муравей или жук, запоздало распяливший крылья под накрывшей его сапоговою силой, чугунной плитой, – и как много могу сделать я. Что-то космически смешное есть в бытии различных особей на разных полюсах – в различных средах и на разных скоростях. Вознося благодарность Создателю, мы почему-то забываем о его чувстве юмора. И еще одно напоминание о щедрости Господа – ни на что не похожий упредительный холод обжигает мне мозг, и, взглянув по подсказке снисходительной смерти направо и вверх, вижу гроздь иванов в застиранной голубизне.

– Всем внимание! – врываюсь в эфир. – Два часа, десять градусов ниже.

– Гут гемахт, Минки-Пинки, – отзывается Реш. – Забираемся на колокольню, ребята, экспресс! Надо их раскидать.

Мы не можем уйти в облака, мы уже не успели засветить себя солнцем, я уже различаю очертания «Яков» – скоростных, разворотливых русских машин, идеальных для ближнего боя на горизонталях. Я, похоже, увидел их в то же мгновение, что и они – караван наших штурмовиков. Восемь русских построились клином и несутся на нас, упиваясь любимой игрой – «кто кого пересмотрит», продавит немигающим взглядом при открытом душители и полном газе, пробурлит тебя до чего-то, что заставит шархнуться в сторону.

– Зеппль, вверх! – режет криком себя самого и ведомого Реш, возносясь над таранным накатом иванов. – Отворачивай, Борх, отворачивай, ну же!..

– Нойер, вверх! – Я, само собой, тоже загоняю в воздушную гору своего Rottenhund¹⁹, а меня самого, разгоняя, несет любопытство: ну же, сколько во мне безотчетно-животного «жить!»?

С ровным остервенением «Яки» вырастают в размахе крыла: на носу и обеих плоскостях вожака распускаются, бьются цветки пулеметной истерики – я вращаю вокруг себя небо и землю, уходя из-под режущих трасс, услышав и почуяв, как они просекают пустоту у меня под крылом и проносятся вдоль живота Минки-Пинки, чуть ли не облизав, не вспоров мой дюраль в то мгновение, когда я живу на ноже. Продолжая идти во вращении влево и вниз, я уже обитаю чистым духом в той точке пространства, в которой левый «Як» заслонит мне весь свет... и, уже целиком совпадая с замысленной явью, гляжу ему в брюхо, призадрав свой тюльпановый нос. Между нами – последние семьдесят метров, под моим любопытствующим взглядом голубое его беззащитное брюхо вскрывается, и крыло с хорошо различимой на светлом исподе звездой в то же дление становится облаком щепок. Не даю себя этим осколкам посечь, отворачивая круто влево с кабрированием, и, когда Минки-Пинки,

¹⁹ Rottenhund (нем.) – ведомый в паре истребителей.

настигнув готический шпиль колокольни, вконец коченеет, разворачиваюсь через крыло и пикирую в простывающий след устоявшего русского клина.

Реш и Зеппль давно совершили похожий вертикальный маневр, Нойер тоже идет за мной в пеленге, прикрывая мой хвост, а иваны, увидев никем не прикрытую стаю наших штурмовиков, вообще позабыли про нас, словно про разметенных докучливых мух, словно их обвалила в пике и несет абсолютная *Gezetzeskraft*²⁰ боевого приказа и ненависти. Выпущенная каленые метки иванам вдогон, слышу взрыв, но не «Яка», который я режу, – от него отлетают какие-то мелкие части, что почти не мешает ему оставаться в таранном строю. Обратным зрением вижу шаровую огненную вспышку – это один из русских совладал с диктатурой своей требухи и пошел до конца, просадив острым носом последний, не успевший сорваться в пике штурмовик, и, взаимно расплющившись, сросшись, безобразным трепещущим факелом пали они, не расставшись до самой земли, как одно существо, а вернее, предмет.

Наши «штуки» рассыпали строй и пикируют с воющим ужасом: разметенная выстрелом стая гусей, а не стаффель железных косцов. Вот чем русские могут сломать наш порядок – беззаконным ударом, который постигнуть нельзя, потому что, пытаясь понять, ты заглядываешь не в ивана, а только в себя самого. Неизвестного этого русского, вероятно, причислят к большевистскому лику святых, наградив его мать и жену красной звездочкой или флажком. Таран стал для него мгновением высшей жизни: пусть всего на мгновение, но стал абсолютным хозяином боевого пространства, и презрения он во мне не вызывает уж точно. Пролетев сквозь раскатанный надвое строй наших «штук», безумная шестерка русских обращается на нас, а вернее, на Реша и Зеппля, моего одинокого бедного Нойера, потому что я сам уже много левее и выше... Бедный Франц, бедный Густав, простите, я живу на одной высоте и одном направлении не дольше, чем бабочка.

Опрокинувшись на спину, обратившись к иванам голубым маскировочным брюхом – впрочем, больше для смеха и помня про свой полыхающий нос, зная, что ни один человеческий глаз не уловит моего обрушения слева по курсу, – прошиваю воздушную толщу, пикируя не на добычу, а мимо нее. И у самой земли выдираю себя из падения – в новую горку: если русский вожак вот за эти четыре секунды не сделает резких движений, оставаясь в полете прямом, я упрюсь ему взглядом в слепое, незащитное брюхо. Темнота заливают мне череп свинцом: боль и скорость – взаимные должники в моем теле, ровно как и главнейшая пара извечных кредиторов друг друга – рождение и смерть. Я плачу этой болью за силу прозрения на вершине горы – и, прозрев, выпускаю долгожданную судорогу, разрывая ивану фанерный живот.

Ухожу в высоту над клубящимся темным хвостом нутряного вонючего пламени, оставляя внизу расшатавшийся строй ничего еще не понимающих «Яков», и валюсь на них через крыло. Мой «мессершмитт» снует вверх-вниз сквозь русскую горизонтальную сумятицу, словно иголка в пальцах белошвейки, обгоняя себя самого огневыми нисходящими и восходящими нитками, каждым новым стежком непременно кого-то из русских прихватывая, отрывая куски, разбивая в щепу.

Долго жить человек так не может, и, вынырнув на высоту, я кладу Минки-Пинки на брюхо и закладываю надо всю заваренную кашей широченный обзорный вираж: уцелевшие русские, трое, встали в оборонительный круг, – вижу, как на земле разошлись черно-желтые огневые круги от падений иванов, а третий, хорошо препарированный мною, как ни в чем не бывало скользит над землею в кильватере «штук». Что за черт? Я же видел, как из этого русского брызнули щепки, засверкали, крутятся у меня перед носом, куски плексигласа.

Потащив за собою распертого ликованием Нойера, я пикирую следом за этой машиной и вдруг понимаю, что иванов вовсе не убивает последнюю «штуку», а просто блуждает у нее за

²⁰ *Gezetzeskraft* (нем.) – досл.: «сила закона»; абсолютная воля.

хвостом, словно пьяный. Настигаю его и скольжу с ним крыло о крыло, уравнивая наши скорости створками своего радиатора. От его фонаря ничего не осталось – лишь акульки клыки остекления, правый борт залит черным, словно выбитым маслом. Больше времени, чем я потратил на него наверху, я теряю на то, чтоб понять, что вот это густое, маслянистое черное вне моей обедненной сетчатки дальтоника, в объективной реальности, красное. Распыленная встречным воздушным потоком, кровь русского залила фюзеляж и достигла хвоста, этой крови так много, что ею как будто бы истекает машина, а не человек.

Я настолько захвачен невиданным зрелищем, что и не замечаю вокруг себя первые бело-розовые облачка от разрывов зенитных снарядов. Отставляя поживу, оставляя вверху гроздь вспышек, опускаюсь к земле вместе с нашими штурмовиками, которые будто бы изготовились лапами цапать растянувшиеся по шоссе грязно-серые танки и, вцепившись когтями в стальную добычу, тянуть целый танк в небеса. Начинается благословение: вдоль застывшей колонны столетних рептилий с неземной, самолетною скоростью вырастает лес рыжих и черных, обгоняющих в росте друг друга деревьев. Словно крышка кипящей кастрюли, круглолобая башня подскакивает на рекорд высоты и немедленно рушится вспять на погон. От расколотой, смятой, просевшей брони отлетает окалина – словно в крупновском сталеплавильном аду: где родились стальные мастодонты, туда назад стальные молоты и вбили.

Отметавшийся первый десяток взмывает над огненным лесом, уступая дорогу второму. Подо мной распускаются белые астры, воланы – то стеклянные капсулы белого фосфора разбиваются в воздухе; распустившиеся шерстяные трескучие космы стекают на землю, трепеща и бросая ракетные отсветы, прожигая броню до бензина, людей – до костей.

Облегченные «штуки» устремляются ввысь, а под ними остается тяжелая непроглядная взвесь, и из этой багрово подсвеченной взвеси мускулисто толкаются в небо оранжевые великаны, полоня небосвод и сливаясь друг с другом в антрацитовом жирном дыму.

Все закончилось для этих танков, но ничего еще не кончилось для нас: истребители русских весьма расположены появляться в квадрате штурмовки к окончанию обедни и бросаться вдогонку за опорожнившимися бомбовозами, словно стая дворовых собак за промчавшейся сквозь деревню стосильной машиной. Но на этот раз грязная задняя и кристальная верхняя полусферы единого неба остаются пустыми, беспрепятственно пересекаем пылящую линию фронта, и, заведя перрон, продолжая обшаривать чистое небо вполглаза, я расстегиваю до пупа ярко-рыжую кожанку, вытираю с лица гончий пот и покладисто жду, когда мне разрешат заходить на посадку.

Прокатившись по кочкам, прикрываю глаза и опять вижу черную кровь того русского на фюзеляже – небывалую, новую краску, которой я выкрасил нос своего «мессершмитта» и которая, видимо, многожды заливала пробитые мной фонари изнутри, но за дальностью или в силу собственной скорости я ее никогда вплоть до этой минуты не видел. Что случилось со мной? Это было нечаянно-грубое прикосновение к убитому мной человеку. Я уже говорил о преимуществах летчика над земнородными. Вот еще одно: нам не стрелять во врага из винтовок, в упор, видя, как разрушается плоть, не ходить и не ползать меж трупами, и рассказы пехотных солдат для великого множества летчиков так и останутся умозрительной жутью, от которой, конечно, никто не сблует. Нам, крылатым счастливцам, доступно наслаждение скоростью, когда ты ощущаешь и кровную дрожь, и как будто самый запах воздушной поживы. Ты как будто вбираешь в себя ее силу – ощущение, знакомое тем дикарям, у которых священный обычай поедать мозг и печень убитых врагов, с той лишь разницей, что для пилота миг атаки и миг насыщения – это одно.

Подожженные мной англичане и русские ослепленно блуждают по небу, подрываются в воздухе на свои бензобаках и бомбах – это зрелище сбитых тобою с орбиты комет, что едва ли способно отвратить от войны хоть кого-то из нашего брата. Скорей наоборот. В своем

роде единственное совмещение беспримесного детского восторга с арктически холодной отстраненностью от результатов собственного зла.

Каждый день глядя в мозг, прямо в сердце единственному человеку, понимая, что он сделан так же, как я, из такого же мяса и ломких костей, ни кратчайшего дления не думаю: кто он? Это надо еще заслужить, чтобы я с любопытством взгляделся в какую-то птаху из вывода, это надо еще постараться – навязать мне свою единичность как волю: чистотой боевого письма, тою вязью, которую я, избалованный разнообразием почерков, затруднюсь обогнать на четыре фигуры, не то что не смогу ее расшифровать. А у этого, этих, сегодняшних, ничего своего, даже азбучных истин вертикального боя, у вчерашних и позавчерашних – лишь обьедки идей Арцеулова, Иммельмана, Удета и Нестерова, и таких для меня как единственных не существует. Я бы даже сказал: как живых. Как людей. И расплесканная от винта до хвоста той машины неожиданно яркая кровь изумила меня не в связи с чьей-то смертью как несправедливостью, а сама по себе. Просто я ее раньше не видел.

Наконец я расстегиваю привязные ремни и толкаюсь наружу. Оскользываю взглядом Минки-Пинки, посмотревшись в нее, словно в зеркало, пересчитывая боевые отметины на фюзеляже, как подросток прыщи на лице. Как мое созревание обошлось без несметных нарывов, так и третий сегодняшний вылет – без оспы: только восемь осколочных вмятин в отсутствие тех огромных пробоин, сквозь которые в душу врывается нехороший сквозняк. Впрочем, мы с Минки-Пинки стремимся к совершенной нетронутости.

Приникаю к протянутой кружке холодной воды. Подошедшие Реш, Зеппль и Нойер даже не утруждают себя выражением восторга в мой адрес – устали.

– А одного мы все же потеряли. – Реш пинком разбивает ком глины как нечто мелкое, докучное, но до конца не убиваемое. – Двух парней, от которых на память матерям и невестам останутся лишь фотографии. Ни гробов, ни крестов. А ведь я говорил, что шварма²¹ для такой работы маловато. Попробуйте остановить хотя бы полдюжины иванов, если те успевают собраться в кулак для своей лобовой.

– Чего еще ждать от этих маньяков? – разрождается Ной-ер бронебойной банальностью.

– Чего еще ждать?! – вылетает под давлением из Реша. – Да именно этого! Что каждый из этих ублюдков в любую минуту способен пойти на таран. Мы смеемся над их твердолобой прямолинейностью. Лучше б ему было остаться в брюхе матери, а не тягаться с нами, ха-ха-ха! Искусство воздушного боя славянской расе недоступно, как сказал наш фюрер. А моральный аспект?.. Э, Борх, вы устали. Бросьте, бросьте, все мы валимся с ног. Попробую-ка выбить из Шумахера для всех вас что-то вроде увольнительной. Предлагаю всем выбраться в город и немного встряхнуться. Я знаю тут неподалеку славный кабачок. Хозяин из фольксдойче подает прекрасную местную водку, и кормят прилично.

– Скажите, Густав, а к чему вы заговорили о моральном духе? – Я заглядываю Решу в глаза: кирпично-бурое добротное лицо уважаемого деревенского шультейса, старосты, но в каждом слове этого баварца обнаруживается способность к собственным мыслительным усилиям.

– Вы же видели, что сразу сделалось с нашими «штуками». Хорошо еще, этот майор Олендорф снова сбил их в косяк, а иначе все бомбы упали бы черт-те знает куда. И вообще, мы, конечно, готовы отдать свои жизни за Рейх... бла-бла-бла. – Он положительно мне нравится, я всегда благодарен ему за негромкую музыку здравого смысла среди экстатических вагнерианских завываний. – Но мы... как бы это сказать... мы все же оставляем за собою право выбора. И что получается? Как ни крути, а в этом смысле красные сильнее.

²¹ От нем. Schwarm – досл.: «рой»; звено истребителей люфтваффе; состояло из четырех самолетов.

Направляюсь к себе – вместе с Лео и Альфредом нас поселили в довольно удобной квартире, в двухэтажном кирпичном грязно-розовом доме. Водопровод, конечно, не работал. Спасением в России мне стала раскладная резиновая ванна, впрочем, как и в обжарочном Триполи. Наш ординарец Гартль вскипятил к моему возвращению воду, и я с благодарной истомой погрузился в налитую надувную утробу.

Я не то чтобы маниакально боюсь всякой грязи, заразы и вшей, хоть о нашей немой пехоте страшно даже помыслить. Я сражаюсь не с грязью – с землей. Это мой стародавний, единственный сущностный страх, а вернее, отвращение к тому, что со мною когда-нибудь сделают. Отвращение это оживает и крепнет в условиях дикой природы, где горячее водоснабжение уже не защищает человека от медлительного натиска земли. Ежедневно ложится она на мою загорелую, крепкую кожу едва осязаемым слоем смиренной пыли, лезет в ноздри, глаза, набивается в легкие и въедается в каждую пору – с самых первых шагов отпущенного материнскими руками в божественную экспедицию ребенка. Как будто ей не терпится сожрать тебя до срока.

Размягченный горячей водой, надеваю исподнее, а затем – безупречно подогнанные по моей сухощавой фигуре светло-серые бриджи и китель с вороненым Железным крестом. Прямые шнуры лейтенантских погон. Свой Немецкий крест в золоте я по мере возможности оставляю на дне чемодана: ни один настоящий воздушный пижон не станет пятнать свою форму вот этой помпезной «яичницей Гитлера».

Реш и Зеппль ждут меня у машины. Реш командует 1-й эскадренной группой – ветеран баснословного «Кондора», дальноточный, сухой, осторожный вожак. Увидев мой новый кричащий окрас, он взглянул на меня с ледяною усмешкой и сострадательным признанием своего врачебного бессилия: «А я вас считал человеком практическим, Борх. Ну что за пошлое ребячество? Вы что, не знаете, что размалеванные самолеты долго не живут? „Индейцев“, они разяряют. Сегодня вы еще открутитесь, а завтра стянете к себе такую стаю крыс, что между ними носа сунуть будет некуда». – «А может, все зависит от того, кто в размалеванном сидит?» – «Да, да, не наблюдай я ежедневно ваших танцев, я бы точно назвал эту вашу затею идиотской и самоубийственной. Решили позаигрывать с косой? Предельно осложнить себе игру?» – «Ну, мы, Борхи, всегда шли в атаку впереди остальных и дразнили врага страусиными перьями и блестящими латами. Мне скучно, Густав. Я начинаю закисать и останавливаться в росте. Когда подбираешь в воздушном пространстве разве только не падашь, тебе угрожает скорейшее омертвление врожденного нерва. Я хочу подманить к себе сильного русского. Порою среди них встречаются достаточно забавные, но в целом... Пусть их тогда хотя бы будет много. Хотите – называйте это самолюбованием, но это всего-навсего желание полной жизни».

Забираемся в кузов интендантского грузовика и ползем бесконечной аллеей меж остовов развороченных грузовиков и раскрытых уродливыми лепестками, надорвавшихся пушечных дул, покореженных танков со сплюснутыми круглолобыми башнями и распущенными по земле хищнозубыми гусеницами, сквозь чумазные траки которых уже пробивается молодая трава. Трупы красноармейцев обслуга давно утащила куда-то: омерзительны были вощенные задницы с завитками дерьма, тошнотворен – тяжелый сладкий запах паленого и гниющего мяса. Но еще омерзительней были живые.

Мы стоим теперь в Днепропетровске. Центр скучно-безликого города оказался на диво красив: замечательно стройный классический Спасо-Преображенский собор, необъяснимым образом не тронутый снарядами и бомбами, белоколонные и крашеные охрой здания екатерининской эпохи, вереницы купеческих особняков и доходных домов, – но само население... Мы катили по улицам – я смотрел на людей, по-зимнему одетых в сентябре: полушубки, фуфайки, пальто, много шляпок и шляп – горожане, «знакомые с европейской культурой»; каждый третий и третья – с чемоданами и узелками, словно все собирались бежать,

хоть бежать им теперь было некуда; словно ждали, что прямо сейчас остановят их окликом «Хальт!» эlegantные, страшные наши солдаты, потому и таскали все самое ценное на себе и с собой, приготовившись переносить перепады отрицательных температур в уготованном им зимнем рабстве, плену, – впрочем, может быть, многие волокни барахло на обмен и продажу.

Я отчетливо чувствовал их старание сделаться меньше, стать асфальтовой тенью, пятном на стене; в их глазах были те же дикарское обожание и подобострастие, что и в зенках у западноукраинских мещан, но теперь я уже различал за этою приспособительной гримасой нутряную покорность и цепкую травяную живучесть, что была много больше, сильнее, чем страх наших выстрелов или ударов. Лучше жить в этом страхе, чем не жить вообще, – так решили они.

Эти бабы, старухи, рабочие сразу поняли, что от них требуется, что хотим мы увидеть в их лицах, глазах, – их согласие с собственной низостью, только это их может спасти: разве может скотина разозлить своих новых хозяев покладистостью? Я не видел усилия скрыть за личиною скотской покорности что-то иное, «человека в себе» – им, похоже, себя и не надобно было насиловать: что-то передалось им с материнскими песнями, кровью, что сейчас отзывалось с готовностью на немецкое «Комт!» или «Хальт!», заставляя ломаться в хребте и стекать на колени с такою привычностью, словно с нашим вторжением началось что-то очень хорошо и давно им знакомое; никаких других способов существования они и не знали, не могли себе вообразить и желать.

В отличие от подавляющего большинства днепропетровских покорителей, я не только смотрел им в глаза, но и слушал: в силу происхождения и родственных связей я сносно знаю русский язык – недостаточно, чтобы как родную схватить разговорную простонародную речь, но ее общий смысл я способен усвоить. Я почти не услышал проклятий в наш адрес, разве только старушечьи «ироды» да мальчишечьи «гады» и «сволочи», прошептанные с ненавидящим шипением, ласкали мое ухо. Физическая старость умаляет смертный страх, непосильным становится и бояться, и жить, а мальчишки – те вечно играют в войну и мечтают о подвигах. Основная же масса туземцев голосила и лаялась на разрешенных нашей администрацией рынках: «Да ты шо? Нешто много прошу?.. Ну отсыпь хоть еще с полведра! Ну добавь хоть стаканчик! Посмотри, это ж чистый каракуль!» Гомонили, шептались о своих крепдешинных платьях, серебряных ложках, пшеничной муке, лисьих шубах, пальто и костюмах ушедших на фронт и, быть может, убитых мужей, сыновей и отцов, молоке, постном масле, картошке, желудевых лепешках, покупательной силе рейхсмарки, о своих постояльцах – немецких офицерах и унтерах, словно вытянули лотерейный билет, получили охранную грамоту. Говорили о ценных для немцев портных и сапожниках, инженерах, механиках, мастерах паровозных депо, учителях немецкого, печатниках, даже о зубных техниках и венерологах.

Все они соглашались копошиться в объедках, обживаться в завалах кирпичного мусора под нависшей над ними чугунной плитой, выводить из депо паровозы и обстукивать буксы для нас, ремонтировать наши машины, стряпать нам и обстирывать нас, раздвигать под солдатами ноги и подкладывать под офицеров своих дочерей, переводить на русский наши страшные приказы – добровольно явиться на сборные пункты сначала евреям, а потом всем здоровым мужчинам и женщинам младше пятидесяти, – и какая-то скотская будничность виделась мне в их движениях, словно мы для них были погодным явлением, воплощением неотвратимой судьбы, ледником, что раздавит не всех: есть какие-то трещины, ниши, в которых возможно укрыться. Словно все, что мы им оставляли, тоже стоит того, чтобы жить. Только два состояния – жадная слизь или трупное окоченение. Я не то чтобы тотчас почувствовал раскалявшее руку желание вытащить табельный «люгер» посреди их базара и выстрелить в небо или чью-нибудь голову, чтобы вскрыть черепа и проветрить мозги: вот

что мы можем с вами в любое мгновение сделать. Просто я вдруг с арктической ясностью понял: а зачем и за что их жалеть?

Нет, я не презирал *всех* русских. На подступах к Днепропетровску гнили русские, убитые с оружием в руках; каждый день их пилоты выходили меня убивать – не могли, но хотели убить, заставляя нас с Решем признать их свободную жертвенность, силу, их подобие нам, их презрение к жизни ради миски помоев. Нет, великое множество так называемых чистокровных арийцев вызывает во мне то же чувство, а верней, ничего во мне не вызывает, равно как евреи, французы, поляки и прочие, согласившиеся с отведенным им местом, со своею врожденной, безболезненной, честной, пожизненной низостью.

В конце апреля 41-го мой шоколадно-палевый «Эмиль» подшибли нудные английские зенитки, так что пришлось зарыться животом в сахарские барханы, до потери сознания трахнувшись головой о прицел. Я очнулся с башкою, обложенной колотым льдом, в окружении ангелов в желто-коричневых куртках, с огромной кровавою шишкой на лбу, и если бы было кому (угодливому, теплomu, покладистому Богу), молился бы, просил, чтобы точно так же шишка, кровавая горошина, слива не назрела внутри моего сотрясенного черепа: о, милостивый Боженька, не отлучи меня, пожалуйста, от неба.

Через пару недель я уже порывался из стерильных пустот Шарите, сходя с ума без воздуха, пространственной свободы, а вокруг с черепашьим проворством ковыляли, прохаживались и насвистывали «Es geht alles vorüber»²² совершенно свободные от войны и работы мужчины. О, они никуда не спешили. Все они наконец добежали, доползли, дослужились до больничных покоев, наконец-то их всех наградили санитарно-курортным кормушечным раем за какие-то грыжи, артриты и прочие несмертельные беды-болезни, наконец-то избавили от ежедневных мозговых и телесных усилий, от восьмичасового рабочего дня, от хождения в контору, стряпни, даже перестилания постели и мойки посуды, и теперь можно было часами пластаться на койках, оставляя в матрацно-подушечной вечности отпечатки своих мощных гузен и арийских затылков, заключать дружка с дружкой пари, у кого раньше опорожнится канительная капельница с каким-то *физиологическим* раствором, и, конечно, озвучивать все проявления своего титанического бытия: «ну, пойду пообедаю», «не могу жить без супа», «браво здешнему повару – вкусно, как дома», «надо выпить таблетку»... и с огромною мерой облегчения, освобождения, со счастливой истерзанностью вседержителя, обозревшего мир на седьмой день творения: «посрал».

Их превосходный аппетит, их анекдоты, их потребление бесплатного готового, их благодарность собственным болезням за то, что им теперь не надо покупать дрова и уголь для отопления жилищ (сродни благодарности здешних украинцев и русских за то, что они – не евреи), их разговоры об эрекции и таинствах работы мясника, безобразие дряблых, неразвитых мускулов, стариковские ребра, мучнистые ноги, жировые громады и, конечно, бесстыдное, беспросветно тупое довольство в их лицах и неведение о расплате в глазах – все это подымало во мне такое омерзение, что я едва удерживался от того, чтоб залепить по чьей-нибудь тестообразной сытой морде кулаком и заорать: «Зачем ты, тварь, живешь?!»

Я развлекался представлением, как я бросаю в эпицентр их обеденного чавканья гранату – и в этом мире наконец-то воцаряется тугая, надежно залепляющая уши тишина.

5

Молодняк пополнения стабунился у загонной жердины и жрал их, настоящих, матерых, глазами. И конечно же парни Зворыгина на глазах у щеглов зашагали к машинам особенным образом – вперевалку, с таким пресыщением, словно не в пекло, а мушиную мелочь

²² Es geht alles vorüber (нем.) – «Все проходит», немецкая песня.

давить. Сами, сами еще, по хорошему, мирному счету, мальчишки – оттого и позерство вот это, словно перед девчонками на довоенном бульваре.

Лапидус подхватился к ограде, сграбастал за плечи сержантика Сомова и затряс, ненасытно оглядывая:

– Слышь, земляк, ты же ведь из Москвы! Я прошу тебя, друже, запомни! Если я, подоженный врагами в неравном бою... а ты будешь в Москве, дуй на Зубовский. Пятый дом, тридцать третья квартира, три звонка, спросишь там... Октябрину. Передай: он любил вас... – И отбросил того от себя, подавившись рыданием.

Заржали, но Зворыгин повел тяжелеющим взглядом, и немедля настала, стянула сердце каждому как эластичным бинтом тишина. Привыкаешь с годами, а вот все равно остается в руках и коленях какая-то струнная дрожь.

Мясистое лицо Семеныча перехватили скобками морщины – глядел он на Зворыгина, как на бродячую собаку, затащенную крючьями на живодерню, и Зворыгин забрал у него шлемофон и, насунув Семенычу на трудовой лысый череп свою голубую фуражку, не взшел, а взлетел на крыло своей «кобры». Сразу зажил в машине, как сердце живет в нем самом, зарулил по мосластой грунтовке на взлетную и по белой отмашке стартера... рассекал своим красным обтекателем воздух на тысяче метров – острием полыхавшего бронзой на солнце соколиного клина.

На десять часов, двадцать градусов ниже показались идущие в две колонны изящные, длинные двухмоторные «пешки» с их раздвоенными хвостами и овалами нумерованных стабилизаторов. Чуть левее и выше шел ступенчатым пеленгом стройный квартет Подобеда.

Поздоровались и, разогнавшись, проскользили над ними вперед. Перестроились в пеленг с превышением пары над парой. И как будто бы преодолели воздушный барьер, обозначенный долгим изломистым рвом на зеленой и серой земле – с высоты, разумеется, тонким, как шрам, просеченный по полю, словно кто-то вертел, поворачивал землю, как гигантский кусок запыленного войлока под иголкою швейной машинки.

Ворвались в закипевшую облачность: небо стало рябым от зенитных снарядных разрывов. Повсеместно захлопало так, словно лопались на сковородке кукурузные зерна.

– «Ландыш», «Ландыш», я «Мак», – шоферским голосом вожатого автоколонны вскричал Зворыгин, упреждая ведущего следом своих «петляковых» майора Антипова. – Уходи влево вверх – или прямо по курсу вам сделают вилочку. Понял меня?.. Ну-ка, хлопцы, проедем-ка им по ушам. – Опрокинулся на спину и спикировал вплоть до земли, обломив за собою всю стаю, оставляя бурлящую кукурузную кашу сверху...

Снова взмыли на тысячу, две... Вплыли в зеркало заднего вида драгоценные «пешки»: на каждой, кроме боезапаса, – трое наших ребят, шептунных, непутевых, застенчивых, наглых, не целованных, щелкавших девок, как семечки, отрешенно задумчивых, нараспашку веселых. Надо было им выйти, проплыв над немецкою линией, к Новороссийску и обгадить фугасами батареи развернутых к морю тяжелых орудий, что мешали с землей наш десант у Мысхако. И добраться до этого берега было как пальцем до кожи ежа...

– Командир, три часа, двадцать градусов выше – «худые»! – закричал Ахмет-хан.

Они так понимали друг друга, что Зворыгину не было нужно ни слова, – потянув по косой с ровным бешенством вверх, вся пятерка его вслед за ним прочесала лазурную пустошь трехэтажным своим боевым разворотом, обратившись носами на «мессеров». Волки, волки, Тюльпаново племя, десяток – завели карусель с двумя нижними парами «аэрокобр» на косых виражах; желтизной полыхнули окольцовки носов и рули поворота, да и ни к чему были эти родимые метины – сразу их обладатели были опознаны по чистоте и изяществу скорописи, по тому, как пришлось завертеть головою в потугах уследить за кривыми стрижиными просверками в голубой пустоте.

– Командир, на хвосте у тебя, на хвосте! – заорал, задыхаясь, Поярков.

– Вижу, вижу, поди, не в трамвае.

Раскаленный форсажем комар стал огромным, птеродактилем, ящером, опускаясь Зворыгину в мертвую зону, ни единой в него не пустив преждевременной трассы – не дрожащей от жадности, точной господской рукой. И в холодном спокойствии – по заявкам всех русских – Зворыгин запел:

– Когда простым и н-н-нежным взором... – И на полную выдал рули, обгоняя немецкую ласку запнувшейся вспышкой переворота, как кочевник в седле, зная, как достоверно прикинуться мертвым вместе с павшей лошадью. И как будто рванули в ушах его ситец в ножевое мгновение это: просверлившая рокот мотора бронбойная трасса раскрыла пустое так близко от зворыгинского существа, что не мог не поверить ублюдок в падение захлебнувшегося певуна, отвернул от него, уходя от атаки Пояркова, отпуская Зворыгина на свободу убить, столь же чистую, сколь чудовищным было его тугоухое пение: – Необычайным цветным узором... – в восходящем потоке завертелось оторванное у тевтона крыло, – земля и небо вспыхивают вдруг. – Однокрылый урод, задымив, по спирали устремился к земле.

А Поярков уже был в клещах разрезающих воздух у него за спиной двоих, и Зворыгин хлестнул из всех своих плеток по ближнему, загоня меж ним и Поярковым огневые штрихи – ну увертливый черт! Удивительно чисто ушел из-под трассы круто влево и вверх, но зато и Поярков ускользнул на ноже из-под трассы второго.

Ахмет-хан и Гречихин, с самой первой минуты царившие в солнце надо всей свистопляской, тотчас рухнули на распаленную пару «худых» на хвосте у Зворыгина, словно их швырнул вниз приступ хищного голода: вожака разнесло красным огненным клубом в ошметки, а второй, задымив, завертелся к земле – вот ведь, твари, не ждали, что кто-то из наших иванов может жить выше их.

В то же самое дление «мессершмитт» с командирскою стрелочкой на фюзеляже развернулся Зворыгину в лоб с такой резкостью, что за его оперением потянулись хвосты конденсата, – закипел от винта до хвоста, затеяв игру «кто кого пересмотрит», зажигая на крыльях и под фонарем заплывавшие бешено свечи. И, прижмурясь, как кот на сметану, он, Зворыгин, продолжил движение навстречу ему, начиная то страшное, чем много раз убивал, чем убил своего вожака наглядного первого. Но тогда это было на каком-то наитии, точно кто-то вселился в него, помыкая Зворыгиным так же, как сам он – машиной, словно кто-то тащил и водил его, как одетого слизью сазана на леске, на заглоченном, впившемся в жабры крючке, точно кто-то незримый, вне его существа, намотал его жилы на колодезный ворот. А сейчас он, Григорий, мгновенно рассчитанным поплавающим дрожаньем и рысканьем пропустил под собой, чуть левей, чуть правей огневые канаты, и немецкий комэск, увидавший невступно в упор диск его вороного винта, будто хваткой утопленника потянул на себя самолетную ручку, подымая машину в воздушную гору, и мгновенная тень «мессершмитта» прошла над Григорием будто и не по воздуху, а по булыжникам. Настигая идею атаки, в сей же миг запалил вертикаль за немецким хвостом, с благодарною, радостной мукой прожигая воздушную толщу до тех же этажей, что и немец. И матерый ублюдок все видел, да только для него все закончилось там, на сближении лбами, внизу, – видел, как круто взмывшая «аэрокобра» убивает его, запрокидываясь в верхней точке подъема своим красным носом к нему и ложась винтовой вспышкой переворота на брюхо.

Толстой пушечной трассой немцу то ли стесало под корень, то ли вырвало с корнем крыло, по касательной разворотило моторное сооружение в носу, из которого тотчас ударил смоляной, раздуваемый встречным потоком, мятущийся факел. Это смертное пламя сожгло уцелевшим тевтонам глаза: тотчас начали сыпаться к серой земле и немедля враздробь повернули на запад, потянув за собою густые дымы от надсада моторов.

– Ахтунг, ахтунг, камрады! – заблажил Лapidус. – Товарищи, куда вы?! Вы же ведь гордость фюрера, волки! Товарищи, вас ждут свобода и работа! Бросайте самолеты – закурим папиросы!

– Придержи помело, – погасил его тут же Зворыгин. – Ни хрена это были не волки, а так, прибылые.

– Ну не факт, командир, ну не факт!

– К «пешкам», к «пешкам», ребята, в правый пеленг ко мне. Всем смотреть в оба два. Нам еще через «мессеров» этих до упора пилить и пилить. Как на тракторе Паши Ангелиной.

Караван бомбовозов взял левее и ниже от их карусели с «худыми», прикрываемый сверху четверкою «аэрокобр» Подобеда. Накрывая нагоном их крупную стаю, Зворыгин тотчас пересчитал «петляковых», как хозяйка цыплят, – с тою разницей только, что эти великанские птенчики были много больше него самого. Девять и восемнадцать, все целы. Посмотрел на часы на приборной доске – приближалось расчетное время подлета, и Зворыгин повел свою свору теперь уже строго над «пешками». Так и шли с превышением на полкилометра, а Зворыгин с Поярковым – на километр, как по гребню воздушной горы, осевая, верховная пара. При таком построении «худым» ничего уж не стоило подобраться на бреющем к «пешечкам», но уж тут ничего не поделать – лишь глядеть в оба два, – надо ж было антиповским бомберам как-то свалиться на цель.

В полусферах – ни пятнышка, но зато впереди, чуть левее по курсу, по земле протянулись шерстистые серые нити: это там разбегались по летному полю «худые» или, может быть, «фоккеры»... И уже уткнуло под крыло каравана полотнище всполошенного аэродрома, и уже завиднелись впереди параллельные веера батарей, длинноствольных машин, хлобыставших по нашим морьям беспрестанно. Не ломая порядка и хода, «пешки» встали на свой боевой, завалились в пике и почти что отвесно западали на батарею, все стремительней, все тяжелей, без надежды, казалось, поправиться, не расплющиться оземь носами, будто уж норовя обогнать свои бомбы, от которых они опростались в пике, сами став многотонными бомбами, но легко, даже будто играючи вышли из крутого пике.

Сотрясенная кучным ударом, загудела земля, что-то треснуло, лопнуло в темных глубинах ее, но Зворыгин туда не смотрел – шарил взглядом по чистым просолнеченным голубым полусферам, где сейчас непременно должны были появиться ублюдки, которые взмыли по русские души. Где? Где?

Разворот «пешки» сделали над полыхнувшим во всю свою ширь ослепительным морем – надо всей неоглядной свинцовозеленой и дымчатой прорвой одинаково скучных, тяжелых, тягучих катков, и вот тут, в развороте, отстали от своих косяков погрузневшие правые крайние бомберы, и как раз над огромною водной могилой с двух сторон вышли на караван тупоносые, бочковатые «фоккеры».

– «Мак» второй, прикрывай замыкающих! – крикнул он Подобеду. – Ленка, девять часов...

Лapidус – благо не истукан, голова не приварена – сам уже все увидел, без нахлеста зворыгинским криком обратился налево и спикировал вместе со своим Горбуновым навстречу четверке хорошо бронированных тварей, что летела передней девятке отставших «пешечек» наперерез, подбираясь к их брюху, прижимаясь своими животами к воде, чуть ли не идеально сливаясь с глянцевитой массой прибрежного студня. И Зворыгин хотел уже было помочь, бросив «аэрокобру» туда же, но тут что-то тронуло стужей затылок, понуждая его посмотреть в вышину и назад: там, засвеченная полыхающим солнцем, плыла еще парочка, что должна была через мгновение повалиться в пике, выпуская, выплескивая из своих поливалок огонь.

У него было пол-оборота секундника. Зазудела в башке вопрошающим, жалящим роем цифирь угловых скоростей и виражных кривых, сделал крен для любимой спирали, рас-

кроил в два витка высоту так безжалостно чисто, что был обречен очутиться на третьем витке за хвостом у ближайшего к берегу «фоккера». Бронебойные метки, хлестнув фюзеляж броненосца, распались на искры, но зато разорвали в центроплане крыло, выдирая из твари стальные нервюры скелета... Довернул и стегнул по кабине второго, разнеся на куски обтекаемый черепфонарь.

Далеко за хвостом что-то хлопнулось в море, показалось, расплывшись о колоссальную толщу воды, как о сталебетон. «Петляковы» поджались друг к другу, отстроились и стремительно пересекали Цемесскую бухту, не ломая порядка и хода. Десять «аэрокобр» держались над ними и перекрывали все их ракурсы наглухо – штук двенадцать медлительных «фоккеров» парами с безнадежным упорством накатывали, выбирая мгновение, ракурс, просвет для разящего выплеска трасс и, похоже, с предельной натугой уходя от отсечных, заградительных струй истребителей и самих «петляковых»... Потянулись еще с пять минут за живыми, невредимыми «пешками», повели смышком по зворыгинским нервам и, накушавшись злой пустоты, отвалили.

Так они и пахали воздушное поле до самого Геленджика – все никак не могущие облегченно обмякнуть, не давая себе прежде времени, до сцепления покрышек с землей, совершенно уверовать, что сегодня живыми останутся все. А когда наконец стало явью заморское летное поле, Зворыгин почувствовал, что сейчас и машины, и люди задохнутся от бешеной частоты эволюций и долгого напряжения всех чувств; что уже замирают в моторных отделениях и ребрах надсаженные продолжительным гоним сердца, перестав толкать кровь по разношенным трубопроводам. Он давно уже взмок до отчетливо слышного хлопанья, и просох тоекратно, и снова взмокрел – гимнастерка была тяжела, как от ливня, – и какое-то время не мог шевельнуться и тронуть привязные ремни; обсыхал, коченел истуканом в притертой к земле заглушенной машине.

Остамелые руки Зворыгина ожили, расстегнули ремни, и, толкнув открывавшуюся, словно в автомобиле, дверцу «аэрокобры» наружу, он с воскресшей умелостью прыгнул на землю. Там уже гомонили, гоготали, братались не знакомые прежде друг с другом летуны двух различных пород, и Гречихин показывал бомберам на Григория, будто отмахиваясь от назойливой мухи.

– Зворыгин ты, Зворыгин? – набежал на него мощногрудый, коренастый майор с глазу- рованным потом, выражающим властную силу тяжелым лицом. – Я Антипов! – протянул он Зворыгину мощную лапу. – Ну спасибо тебе, черт небесный, провел, чисто как по проспекту, туда и обратно провел. Мы-то шли – ну, ты знаешь, с каким настроением. Если на полный радиус, то все. Пишите прощальные письма! Я вас любил, любовь еще, быть может... Завещания вот составляем – кому что из имущества. Два подбоя на вылет у нас – это обыкновение. Ну а ты со своими орлами все пылинки с моих ребятишек посдул. Я, Зворыгин, всегда теперь буду тебя на прикрытие просить. Я уверен в тебе, как в себе, даже больше!

– Видно, улей у них был пустой. Облепили бы большим числом – иметь нам с тобой бледный вид и кривые ходули.

– Но везет тоже знаешь, кому. Ух какого ты черта крутил этим «фоккерам»! Да я с тобою, если хочешь знать, до Керчи бы махнул.

– Что же только до Керчи? Бери до Берлина.

– И махнем, Гриш, махнем! Скоро мы с тобой этого милого Гитлера так пятисотым калибром обгадим, что он там себе прямо в штаны наладет, мать его в душу через семь ворот! Ну, пойдем, брат, пойдем – там у нас с собой было... О, гляди-ка, какой раритет.

Он, Зворыгин, всегда получал удар в сердце, когда над гнездовьем полка возникал беззащитный картонный «У-2», поперек себя шире своей этажеркой, – все, кто не был прикован неотложной работой к машинам, подрывались навстречу ему, несуну, брызнув из капониров, от курящихся кухонь на дутиках, словно дети к видению первого аэроплана, не по

материковой земле, а по льдине – потерпевшие бедствие, веруя: их не забыли, обязательно вспомнят, вернут, заберут из ледового плена. Обдавая вздымаемые лица горячей волною пролета, «кукурузник» вываливал им через борт легковесный объемистый тюк. Налетали, впились, вскрывали, выпуская нутро – вороха спрессовавшихся, сросшихся, словно палые листья, конвертов, треугольников, голых открыток с нарисованным слева от адресных бланков героическим воином, что сидит на земле в лихо сдвинутой на затылок ушанке, опершись на посылочный ящик, и одною рукой выводит на листке сокровенные строчки, а другою придерживает автомат, улыбаясь при этом, как Пушкин, который что-то пишет гусиным пером при лампаде. «Жди меня, и я вернусь» – было крупно начертано над посылочным ящиком.

Заходило стесненное сердце, когда раздербанивались драгоценные ворохи, по налитым голодною дрожью рукам раздавались нечаянно-долгожданные письма отцов, матерей, жен законных, зазноб и едва не единожды виданных девушек, только раз и приобнятых, схваченных за руку, обещавших писать и писавших, научившихся или разучившихся ждать, как никто.

Получивший письмо, точно охлест, ожог травяного, цветочного, чистого ветра из будущего, выбредал из густившейся каши разбора летун, уходил далеко ото всех, убирая за пазуху, словно под кожу, конверт, чтоб прочесть не теперь, в подгоняющем гуле и треске моторов, а в самой тиши, в непогоду ли, в час ли меж собакой и волком, когда никто уже не оторвет его от этого письма и не увидит, как щежотно намокли глаза и каким детски жалобным, глупым, потерянным сделалось непрерывно сведенное, как кулак для удара, лицо... забивался тогда под крыло и уж там выедал, пил глазами скупой, бледный список материнского лика, заклиний жить вечно, целовального шепота, бреда, тылового колхозного и городского неустройства и проголоди, благодарности за аттестат, по которому дома родные получают твою превосходную летную норму, отелившейся Маньки, окотившейся Мурки...

Как же мало живого и важного умещалось на односторонней открытке, на тетрадном листке, как же много хотел и как мало с чернилами мог передать человек. Но текла, обновлялась в жилах общая кровь, что теперь лишь с чернилами и могла циркулировать в разлученных великими расстояниями людях.

До щемящего натиска возросло теперь в каждом солдате внимание к единственной девушке, и уж если она отвечала тебе, а не то что клялась в вечной верности, накалялось и крепло в избраннике чувство, что теперь-то уж точно тебя не убьют и победа не просто неминуемо будет, а близится с каждым новым ее обвалившимся с неба письмом. Те же, кто жил до войны, как бирюк, изливали всю нежность свою на заочниц: «Я надеюсь, что вы не будете против быть моею знакомой и с удовольствием напишете о вашей жизни в Токаревке», «Я надеюсь, что из уважения к истребителю-фронтовику ты с удовольствием ответишь мне как комсомолка», «Напоминаю вам мои слова о том, что я живу одной душой на свете с четырнадцати лет...» – и таким был вот этот возраставший напор, что ни разу тебя, летуна, не выдавшая девушка отзывалась сердечным приветом, и держала тебя на лету сила всей пообещанной будущей жизни, хоть в ответном письме ее и говорилось разве что о «возможности дружбы».

У Зворыгина было двести сорок заочниц, написавших ему как героическому летчику, написавших его фотографиям в «Правде», и Зворыгину некому было писать. С каждым новым тюком из биплана накрывала его пустота. Новых писем от Ники все не было и как будто уж быть не могло. Можно было, конечно, покивать на ползучую почту с громоздкой военной цензурой, а еще больше на свою перелетную горе-породу: сколько уж сменено было аэродромов, городов, деревенок, станиц, номеров почти полностью выбитых и гвардейскими ставших полков... Только письмам других это все доходить не мешало.

Он наверное знал, что Ника далеко теперь от фронта, что госпиталь ее эвакуирован за Волгу и что профессор Некитаев вытребовал Нику в свое распоряжение в Москву. Гри-

горий представлял себе столицу по кадрам привозимых в полк киножурналов: исполинские туши заградительных аэростатов, гроздь раструбов на телеграфных столбах, бесконечные тысячи окон с однообразными бумажными крестами, баррикады из бревен, трамвайных платформ, мешков с песком и прочего подручного материала – это все уже было пережитками осени 41-го года. Непрерывно растущая черная тень отползла от Москвы, и глодавший Зворыгина вне математики страх испарился, потух, словно спичка во рту, и осталась одна притаенная в самой глубине, обжимавшая сердце тоска. Разумеется, лучшего места для Ники нельзя ему было желать, только сколько же там, в огромной столице, вилось вокруг Ники победительных, сильных мужчин – знаменитых врачей, дипломатов, артистов, бояр, генералов, и красавцев, и умников, и хозяев судьбы, обладателей черных «паккардов» и огромных, как аэродромы, квартир, неоскудных дарителей гридеперлевых платьев, лисьих шуб и собольих манто. Что он был-то такое, Зворыгин, по сравнению с ее другом детства – сотрудником Наркоминдела Извольским, который мог перенести ее по воздуху в заповедные Мехико, Лондон, Нью-Йорк?.. И тотчас обрывал себя от омерзения и стыда: все кормушечно-самолубивое («Мне! Ну не может же быть, чтобы не для меня ее сделали») и холуйски обиженно-злобное («Ну конечно, мы рылом не вышли») отгорало в известку, в золу, только он вспоминал, где и как ее встретил. Да могла ли вот эта, вроде только что выросшая из мечтательных книжек и кукол, беззащитная тонкая девочка, что с четвертого курса московского мединститута пошла в полевые врачи, не понять, что почем в этом мире? Да уж больше, чем он, через край. И не только понять, прикоснувшись ко многим ранам наших бойцов, но и знать изначально, раз пошла прямо с ялтинского променада – в сарафане и туфельках – в военкомат, так что уж без сомнения: зрелость сердца дана ей от Бога, как способность Провидения.

6

Мы не знали имен тех, кого убивали. Это были, конечно, не фанерные и жестяные мишени, а ощутимо наэлектризованные ненавистью, перегрузочной мукой, отчаянием, страхом, с огромной силою хотевшие убить нас позвоночные, потомство теплокровных живородящих матерей. Но увидеть кого-то из этих иванов в рабоче-крестьянское, ни на чье не похожее молодое лицо – это было невысказано. В этом смысле мы были и слепы, и глухи, отправляя на землю не «личностей», а «представителей вида». И как вид они были чрезвычайны выносливы, терпеливы и неприхотливы. Изучив, как Кювье, обгорелые туши и внутренности самых разных советских машин, мы не нашли ни кислородных масок, ни радиостанций, ничего, что бы им помогало общаться словесно и выдерживать боль и удушье на больших скоростях и высотах. А у нас были парни, которые жить не могли без слоновьего хобота и намордника шноркеля²³.

Оперенные русские совмещали спокойную, зрячую жертвенность, абсолютный отказ от своей личной значимости с поразительной косностью и покойницей непредприимчивостью, с рабским следованием стилевому единообразию, заповеданным схемам, лекалам, даже если они были вырезаны точно ножницами по металлу. Самовольное проникновение в иное измерение боя для них было равным осквернению образа Божьего, и любой нехотульный маневр превращал их в мятущихся кур в подпаленном курятнике.

Может быть, это долгие, злые, гнетущие зимы и такие же долгие степи из века в век воспитывали в них мыслительную лень, медлительность ума, привычку к неподвижности, к пространству, где появление метеоров означает наступление Судного дня; может быть, это долгие зимы привили всем русским ощущение ничтожности одного человека и любых

²³ Schnorchel (нем.) – досл.: «дыхательная трубка»; жаргонное название кислородной маски.

человечьих потуг обустроить пустыню, переделать природу, но тогда вообще непонятно, как же это они замахнулись на небо, доросли до колесного хода и дизельной тяги, а не то что до аэропланов.

Итак, на их машинах не было радиостанций, и нас просто жуть пробирала при мысли об их бессловесности: как же так, если именно слово и сделало нас когда-то людьми – раздвигавшая пасть волосатому кроманьонцу потребность предупредить об угрозе сородича: «Вниз!», «Обернись!» Против нас воевали обреченные глухонемые, способные обмениваться только покачиванием крыльями, если только не верить, что у них есть какой-то особенный, дополнительный орган электрической речи, излучения сигналов на особой волне. Но порой я задумывался о другой стороне их закупорки: их молчание было неприступно для нас. Разумеется, нашим связистам всегда удавалось подключаться к штабным коммутаторам или рациям их генералов, но что касается имен, содержания этих людей, того, что они думают о нас, мое зоологическое любопытство не было удовлетворено.

Да, пожалуй, никто из них не заслужил различения: убиваемый с легкостью и предрешенностью, не способный оставить на твоих плоскостях ни отметины исчезает из памяти сильного зверя бесследно. Но сейчас на Донбассе – о боже, спасибо! – объявились хотя бы немного другие. 16-я истребительная авиадивизия – без каких бы то ни было внешних горделивых намеков на их элитарность, никакого пылающе красного «Лейб-штандарта Иосифа Сталина». В первый раз мне пришлось танцевать настоящую жигу, то и дело ныряя под русские трассы. Этот русский ведущий хотел поводить по моим электрическим жилам смычком. Он висел у меня на хвосте неотвязной, зудящей осой, полагая, что весь я сжимаюсь в безотчетной потребности сделаться меньше, чтоб моя бронеспинка прикрыла меня целиком, но для меня все это проходило по разряду ежеутренней гимнастики. Я заложил такой безжалостный вираж, что русскому понадобилась вечность на то, чтоб вытянуть свой «Як» из соковыжималочного крена. Я отчетливо чуял, как трещат его мышцы от шеи до пяток и от чугунного прилива крови пухнет голова, когда был у него за хвостом и выметывал трассы из всех пулеметов.

Но другим мастерам и хозяевам воздуха, приохоченным к даровой власти, пришлось много хуже. Лейтенант Эрвин Грубер (двадцать восемь зарубок на киле!) решил позавеселиться с троицей «Яков». Все пошло, как всегда: наши парни кричали: «Хорридо!», «Затравим!», наслаждаясь собачьими вальсами краснотрикольного трио, заставляя индейцев вертеться юлой, как дрессированных медведей на арене; поражаясь тупому упрямству, с которым иваны разворачиваются в лобовые атаки, и не сразу заметив, что сами секут пустоту, что хотя бы реакция этих русских мгновенна. А вожак этой тройки, 17-й номер, заложил неожиданный правый боевой разворот, оказавшись – о, Гюнтер!²⁴ как же так, почему?! – не вполне обезьяной, и пошел потерявшему чувство пространства арийцу в лобовое стекло, в сей же миг заслонив своим коком и блеском винта белый свет. Все, что Эрвин мог сделать, – рефлекторно рвануть свою «Желтую-два» в высоту. Очаровательная мимикрия под привычное самопожертвенное бешенство, от которого нашему брату так легко увернуться. И бедный Грубер оказался загнанным в наделы недочеловеков. Кто же знал, что, едва пропустив под собою его «мессершмитт», русский вздернет машину на дыбы, как обваренный? Угадает с делением шкалы, этажом, на котором он должен опрокинуться на спину.

Новобранец Бургсмюллер, глядя завороченно на русское покушение на вертикаль, так и не уловил винтовой вспышки переворота в верхней точке дотянутой до половины петли. Развернувшийся в хвост ослепленному Эрвину, русский целую вечность лежал на воздушном потоке, дожидаясь, когда Грубер вынырнет у него перед носом.

²⁴ Гюнтер, Ганс Фридрих Карл – немецкий антрополог, один из основоположников нацистской расовой теории.

Через день тот же номер 17 затащил в пилотажное неандертальство и Лео Мантойфеля. Как это было, я узнал со слов Гризманна и Ландграфа, потому что сам Лео, надышавшись густым унижением и выпрыгнув из горящей машины впервые за жизнь, возвратился в гнездовье с отшибленной речью. Там у них, под Славянском, началась настоящая свалка, и это продолжалось пять минут – непрерывное необъяснимое издевательство русского вожака над Мантойфелем. Он как будто нарочно подставлял Лео хвост под кинжальный огонь, а уже через миг, сбросив скорость, становился огромным, заполняя размахом крыла не прицельную рамку, а весь белый свет, так что Лео едва успевал НЕ нажать на гашетки, чтобы пламя разрыва не сожгло его самого. Это было какое-то механическое пианино на крыльях – показалось, что дроссель и створки радиатора русского открываются и закрываются сами собой, словно жабры, с частотою сердечных ударов гася и опять выпуская на волю лошадиные силы мотора.

Ну конечно, ага. «Если у самого меня не получилось, то, значит, совладать с этой тварью не может никто». Я почувствовал зоологическое любопытство к безымянному соколу, пусть и делался он таким страшным только в линзе чужого убожества.

Забираюсь в кабину, проверяю магнето, подымаю свой шварм на охоту, и ведомым со мной в этот раз вылетает Мантойфель. Что-то сделалось с ним в том бою, и, наверное, лучше бы начал дрожать от животного страха, но его теперь жжет унижение. Словно рыба наживку, заглотивший Железный крест 1-го класса, иступленно гонявшийся за победами раньше, разеваая клекочущий клюв на рекорды, он теперь делал все для того, чтобы вырваться из ощущения своего боевого ничтожества, доказать: та беспомощность, неспособность убить были только минутной болезнью, а не тем, из чего его сделали. Это были двойные унижение и зависть: барражируя в поисках своего оскорбителя, он, по сути, пытался угнаться за мной.

– Всем велосипедистам! – захлебный лай, пожарная тревога. – Над Красным Лиманом полно фляйшвольфов и индейцев! Кто рядом, кто рядом – немедленно прикройте станцию! Сейчас там будет ад!

На полном форсаже несемся к разъезду – мой взгляд скользит по огненным валам и тучам лакового дыма и натывается на острый профиль выходящего из вертикального пике штурмовика. Еще через мгновение я вижу соединенное, спаявшееся все: ревущую девятку мясников, которые отвесно падают на станцию, и прикрывающую их полуслепую тройку «Яков», которые не видят ничего, кроме блещущих пфеннигов наших зениток за насыпью. Сейчас фляйшвольфы выйдут из пике и понесутся вспять над самыми путями, сбывая с поверхности все, что не взорвано, поджигая тюки с украинским зерном, разнося на куски обезумевших лошадей и людей, словно небо обязано оставаться пустым, пока они не поперчат все это огненное варево.

– Ведомым оставаться наверху, – осаживаю Лео и обрушиваюсь на железобетонного увальня – глаз мой режет его, словно сквозь микроскоп, отделяя от целого члены, куски: центроплан, плавники оперения... оторвать их с рулями или до пограничной полосы не давить на гашетки, так что кажется, через мгновение пролетишь сквозь него, словно он уже нематериален, и тогда твоей пушечной мощи достанет для того, чтобы вскрыть этот сейф, как консервную банку.

Тварь уже начинает ложиться на брюхо и сейчас задерет свой очиненный нос в небеса – надо срезать ему плавники... по железному боку стучат мои пули, высекая из твари золотую пургу. Но еще через миг от его оперения отлетают куски, то едва различимое, без чего мозг и руки – ничто.

Два замыкающих штурмовика ложатся на живот – я ныряю в их мертвую зону, прошивая последние футы до дымящейся, как торфяное болото, земли; выворачиваюсь из падения, под критически острым углом упираясь глазами в лазурный испод мясника, и давлю на гашетки, продольно взрезая беззащитный живот. Из развороченного маслорадиатора рас-

пушившимся лисьим хвостом вырывается пламя. Задираю нос выше, взвиваюсь над факелом, в верхней точке подъема кладу Минки-Пинки на брюхо и вижу, как распоротый мной броненосец вонзается в неминуемую каланчу. Лишь теперь, с распылением башни, которая оплыла, словно мигом сгоревшая свечка, тройка этих индейцев увидела нас – двое сразу пошли нам навстречу удивившим меня чистотой боевым разворотом, задирая носы, выпуская запоздало-бессильные струи, отсекая нас с Лео от своих мясорубок.

– Лео, парни, на Северный полюс!

Мы уходим в крутую воздушную гору, выбрав самый надежный способ бегства от русских. Зачастую все этим рывком и кончается, мы свободно уходим домой, не втянувшись в удушливо-потную свалку, но сейчас эти «Яки» нагадили в наших владениях – надо их хорошо наказать.

– Гросскройц, Курц, живо за мясниками! Не давайте им строиться в круг.

Мой глаз скользит по загрютованным свинцовыми белилами грядам, выхватывая сквозь разрывы в облаках стремительный придонный призрак русского... Пора! Я рушусь на него, просаживая облако и вырываясь из тумана вместе с клочьями разорванной подушки. Прострельный электрический озноб швыряет его вниз. Такая скорость отклика меня не удивляет – обыкновенный развитый инстинкт прошедшего естественный отбор опасливого селезня. Будто впрямь обесстыдев от страха, он почти что отвесно пикирует – нос моей Минки-Пинки в угоду ему, как секундная стрелка, опускается ниже и ниже, стремится в отвес. Сейчас он даст крен для спирали... да ну? ты это умеешь, иван?.. по крупным буквам я читаю его мозг, и с тошнотворной предсказуемостью, но никогда не виданную мной у русских чистотой иван раскраивает воздух подо мной – как будто по невидимому бешеному шнеку. И я иду в крутую гору лишь из любопытства, обгоняя его точным знанием, что он может сейчас со мной сделать. Я не вижу его – тут как в жмурках, – я отчетливо чувствую, что кусок высоты надо мной заражен его волей и вот уже занят его самолетной силой: два витка – и он там, где не может не быть... В верхней точке прямого подъема сжимаюсь – человеком из мяса, ошпаренной кожи, – задирая свой крашенный нос до спасительного замирания, начиная скользить на крыло раньше, чем по примеру убогого Грубера вынырну у него перед носом.

Я хочу показать ему свой силуэт – на кратчайшее дление, для того чтоб сполна насладиться наивным его торжеством. Пусть увидит, что он все исполнил безгрешно, только этого мало – со мной. Развернулся и пал, оборвался, как яблоко с ветки, у него из-под носа, благодарный ему за воскресшее чувство ребенка, разорителя фермерских яблочных кущ, когда весь ты становишься собственным сердцем, убегаешь от трепки и счастлив, что тебя не догнали.

Я проношусь в обратном направлении футов двести, видя в зеркале заднего вида русский переворот и движение за мной, – ну давай, что ты можешь показать мне еще? Я уже понимаю, что это тот самый безымянный иван, о котором так лестно отзывались Гризманн и Ландграф. Своими эволюциями он развеивает все, что я успел узнать о русских как о виде – о пожизненной их неспособности на своевольное нарушение предписанного, моментальной их оторопи перед каждым негаданным и невиданным росчерком немца.

Ухожу из-под мысленной трассы ивана крутым виражом, так, чтоб он не прицелился в точку у меня перед носом, и еще через миг поселяюсь у него на хвосте, нанизав на расстрельную ось этот «Як» с той же легкостью, что и всех до него. С переламавающей резкостью русский взмывает у меня из-под носа, тонет бешеной свечкой в задернутой тучами бездне, наивно надеясь, что мой глаз неспособен отделить его гаснущий абрис от сизо-белесого воздуха, не поймает мгновения, когда он опрокинется через крыло и западает мне круто в лоб...

В это самое дление в наши страстно-безгрешные игры врезаются третий: я зажат в превосходных клещах – где же Лео? куда же он смотрит, когда русский ведомый буравит мой затылок глазами? Я могу просто взять и уйти на Нордполь, и прореха в барашковой туче затянется тотчас, но нет, я сейчас поиграю с тобою в твою же игру: «удирая от смерти», бессовестным переворотом сыплюсь вниз и пикирую прямо на шквально растущую пирамиду шахтерской долины царей. Распаленный дурманящей явностью моего дымового формсажного следа ведомый иван устремляется следом за мной, словно селезень за вожденною самкой. На мгновение я ощущаю щемящую радионемоу этой парочки, даже будто бы вижу разодранный в крике клокочущий рот жоака: на себя, на себя рукоять! не иди за ним, нет! Это больно, конечно, – заглянуть в предрешенное будущее своего соплеменника, брата, обгоняюще впившись в неминуемую точку убоя, и быть совершенно бессильным полетевшее остановить.

В сотне метров от черных морщин террикона я беру на себя замертвелую ручку и со шквально густеющей темнотою в глазах выжимаю машину в воздушную гору, чуя, как этот олух отстает от меня на подъеме в безнадежном усилии взмыть от земли много круче и выше, чем я, уцелев у меня за хвостом, а не вспыхнув у меня перед носом. Прозреваю и режу его – никакой хищной радости, никакого желанья жрать полыхнувшую пададь. Тотчас же завертел головою, отыскивая над собою того, необычного, редкого русского.

– Не мешай мне, прошу тебя, Герман, он мой! Это он, он, ублюдок, семнадцатый номер, я узнал его, Герман, оставь его мне! – слышу вдруг умоляющий голос воскресшего Лео, этот голос по-детски дрожит от потребности вырваться из боевого ничтожества.

Что же, Лео, давай – из меня прямо лезет признание в «благородстве» и «рыцарской чести».

Русский видит, что я остаюсь созерцателем, и не может зайти Лео в хвост – на мгновение мне показалось: от живого ума его ничего не осталось, унизительно-глупая братская смерть выжгла мозг, понесла вслед за Лео в кровавом наплыве... Но нет, слишком рано я сослал его в неандертальский надел: задушив сумасшедшую скорость на горке, он уходит Мантойфелю прямо под брюхо – восхитительно грязной, какой-то недовышедшей бочкой, пропуская того над собой – в неминуемую точку убоя. Вижу, как его трасса разносит фонарь над бедовой головою Мантойфеля. Простота этой русской идеи – обратить очевидную грязь в небывалую, не предвиденную даже мною винтовую протяжную вспышку – изумляет меня. Сколько раз видел я эту мерзость со срывом резьбы, когда нос самолета зарывается в воздух, как в глину, сколько раз – в исполнении множества желторотых птенцов и не видел просвечивающей сквозь нее красоты, а иван подобрал эту тусклую куколку и... вывел бабочку новой фигуры.

Что-то туго свернувшееся распрямляется в алом, сочащемся, нежном нутре, как полоска китового уса в «Сказании о Кише»: мерзлый жир растопился, и желание как можно ближе его изучить врезаются мне в брюхо с лютой силой.

– Это несправедливо, иван, – убить тебя сейчас, не зная, кто ты. Ты заслуживаешь упоминания в Wehrmachtbericht²⁵, – бормочу я. – Ну давай, покажи мне, что ты можешь еще.

Что за черт? Что со мной? Омерзительный запах силовой недостаточности – нос моей Минки-Пинки пробирает моторная дрожь. Я включаю магнето – машина начинает трястись с такой силой, что даже прицельная рамка скачет перед глазами, и дыхание во мне обрывается от досады и бешенства. Вот что я не терплю, вот чего не прощаю: выходящих из повиновения железных артерий, сочленений, насосов, цилиндров, что должны откликаться мгновенно на

²⁵ Wehrmachtbericht (нем.) – ежедневный публичный доклад главнокомандования вермахта с упоминанием имен особо отличившихся фронтовиков.

каждое телодвижение, – как посмели они отказать мне теперь, когда я повстречался с иваном, любопытным настолько, что мне захотелось узнать его имя?

Я не могу вести машину безукоризненным нарезом, как гравер, – остается лишь сделать разворот на садовый забор и уйти в облака, или он, безымянный иван, опрокинет меня головою к земле, как дрожательного паралитика в инвалидной коляске, и это будет несправедливо для него самого.

У меня пляшут губы, лицо; подхватив от мотора вибрацию, зараженные руки трясутся. Стиснув зубы, чтоб не потерять их, и вцепившись обеими лапами в ручку, колочусь на незримых воздушных мослах: все дальнейшее вплоть до земли для меня – только нудная пытка. Я с каким-то тупым изумлением вижу огонь, языки, вырывающиеся из щелей, я сижу среди пламени: разлилось под ногами и должно меня жечь, но не жжет... как же это смешно – человеку, который всегда выбирает дальнейшее сам.

Темный дым, выедающий ноздри, глаза, прибывает волна за волной, горячей ватой набивается мне в грудь, я никак не могу его выхаркать. Рука моя вслепую вцепляется в фонарную панель – скоростной поток воздуха выметает тяжелую, едкую вонь из кабины, но зато раздувает ленивое пламя, и почти кипяток лижет ноги от ступней до колен. Мне приходится снова закупориться изнутри и насунуть на морду почти не спасающий от задыхания шноркель. Отстрелить крышку тесного, провонявшего гроба и прыгнуть... нет, нет, лучше я дотащу Минки-Пинки до того вон колхозного поля рядом с аэродромом. В прошлый раз все едва не закончилось трещиной в черепе – сдернув маску, снимаю с приборной панели прицел, чтобы не разmozжить об него черепушку. Притираю дрожащую Минки-Пинки к земле – начинается тряска, конвульсии, пару раз меня жестко подбрасывает, а потом «мессершмитт» увязает в непроезжей грязи. Расстегнув перекрестные путы, давлю на стеклянную крышку, выжимаю себя из кабины, встаю на крыло и от приступа кашля валюсь на липучую, жирную землю. По пропаханной мной борозде растекаются жирное пламя и копотный дым – к выгорающему изнутри самолету бегут ошалелые чернорабочие, я бреду им навстречу на резиновых щупальцах, никого уже больше не желая избить – ни механика Феллера, на лице у которого не обнаружилось глаз от стыда за моторный инфаркт, ни ленивую бестолочь Гартля, не приготовившего ванну к возвращению хозяина.

Курц и Гросскройц, которые возвратились домой невредимыми раньше меня, завалились ко мне, словно только что выскочили из горящих машин, словно это не я задыхался в дыму и боролся с дрожательным параличом, а они – мокролицые, даже не злые, с детским ужасом непонимания в глазах:

– Как это могло с ним случиться, если он был с тобой?! Ты же ведь никогда не терял Rottenhund! Ну чего ты молчишь?!

– Это вопросы к Богу, милые мои, а Бог всегда молчит. Объяснить, почему Лео вдруг оказался уязвимым и смертным? Или что, это только славянское быдло должно опрокидываться лапами кверху?

Мы, конечно, теряли собратьев и раньше, но до этой минуты почему-то всегда возникало ощущение как бы оборвавшейся лонжи, не замеченной вовремя ветки, на которую может напороться любая распаленная гончая, прозрачного стекла витрины, принятого птицей за ту же пустоту, – ощущение *собственной* боевой близорукости, расслабления хозяина, убаюканного повседневным превосходством над русскими. Словно только в несчастное время и в несчастных местах не действовал закон немецкой невредимости, словно в землю уходят только те, кому «не повезло», словно только увлекшись состязанием друг с другом и с собою самим, можно было свалиться в уродливый штопор – безо всякой на то воли русских.

Счет потерь был «один к десяти», мы убивали их со скоростью до ста машин в неделю, василиски судьбы, королевичи воздуха, наводящие оторопь на иванов своей хищной статью, и ничего еще не поменялось статистически, упали только две пипеточные капли на весы, но

от того еще острее было откровение: есть русские, которые способны целиком, без коварства случайностей, только собственным телодвижением решить, кому жить. Есть такие, как этот 17-й номер.

7

Зворыгин вскинулся на койке. Точно в него по капле насочилось и керосином вспыхнуло несделанное. На полу – перечеркнутый переплетным крестом слиток лунного света. Не желая тревожить до срока покой перетруженных долгой воздушной страдою парней, он беззвучно спустил ноги на пол, стянул с кроватной спинки синие диагоналевые бриджи, нашарил в изголовье латунный портсигар с искусно вырезанной на исподе крышки надписью «Пора свои иметь» и, беззвучно ступая босыми ногами по земляному полу хаты, вышел в сенцы.

По дороге заметил, что койка Ахмет-хана пуста, – ну, джигит! быстро девку прижал! Поощряет Зворыгин в своей эскадрилье «половую распушенность».

Черноглазым бесенком Ахмет-хан пас овец и однажды увидел над холодно блещущими снеговыми вершинами полыхающе-красный агитсамолет. Раньше он видел только огромных орлов, величаво распластанных на воздушной стремнине, плывущих так, как будто недвижимы и весь мир со своими горами и стадами барашковых туч верноподданно движется птице навстречу; раньше он видел только крупных тетеревиатников в неуклонном разящем угоне за беспомощной грузной поживой; ставку сокола, сильную, как пламя взрыва, когда тот, схлопнув крылья, отвесно бьет птицу много больше себя самого, – а с явлением аэроплана стало детское сердце его обрастать, точно пухом, мечтой о крыле. Родня поднатужилась и вытолкнула Ахмет-хана из кусумкентского аула в Краснодар: «Учи, сынок, законы. Большим человеком станешь – судьей», а тот дошел до первого призывного плаката: «КОМСОМОЛЕЦ – НА САМОЛЕТ!!!»

Они были вместе аж с Качинской школы – Зворыгин, Ахмет-хан и Ленька Лapidус. Ленька спал на полатах, сын знаменитого конструктора звездообразных авиамоторов; мать с отцом его были в Москве, но родные их сестры с «кузинами» Леньки остались под немцами в Киеве. Что «жидов с комиссарами» немцы отделяют от всех остальных и доводят до стенки, оврага – это знание обезнадеживало до бесслезной, сухой пустоты. Точно два человека уживались в одном Лapidусе: оборотистый, хваткий добытчик, неумный скабрезник с иронично кривящимся ртом – и другой: не глаза – беспокойные черные раны. И когда пригоняли кого-то из пленных, а тем более сбитых пилотов, всем хотелось скорей этих фрицев ощупать: глянь, очки у них темные, чтобы солнце в глаза не лупило, шлемофон с вентиляцией, в сеточку, и перчатки из кожи мягчайшей, чтобы чувствовать ручку, а ботинки какие – на высокой шнуровке: уж такие, случись ему прыгать, с копыт не сорвет... Ленька же подходил к ошалелому немцу, глядя в сердце и мозг, приговаривая «их бин юде» и пристукивая в свою грудь кулаком, говоря, что подбил его он, Лapidус и еврей, убивает он их – за своих. И если у немца дрожали глаза, уступая до нужного, что ли, предела, на котором подкашиваются ноги – на колени, в мольбу, в «нихт фашист», – это было еще полбеда... А вот если разбитый, оглушенный падением, ошавевший в сграбаставших лапах пилот продолжал улыбаться угодливо или просто нервически, Ленька мог принять эту улыбку за гримасу презрения или злобный оскал, и тогда уж держи его семеро...

Пустая дорога, огромная ночь, заросший муравою двор затоплен лунным половодьем. В незыблемой дегтярной непрогляди гудели дальнобойные ночные самолеты – «везу, везу, везу» как будто выговаривали. Зворыгин опустил на чурбак, вставил в зубы цигарку с моршанской махоркой, которую предпочитал папиросам с кургузой куркой и пустым мундштуком. Не мигая, смотрел в недоступную вышнюю пустошь и думал о Нике: семь месяцев

назад свалилось с неба ее последнее, московское и, показалось, студью отчуждения дохнувшее письмо. Да и в прежних своих письмах Ника была к нему дружески не холодна, соучастливо не горяча, прямо так и писала, ехидна: «Шлю горячий привет, но ты не обожжешься». Чем дальше, тем вернее представлялось, что «будь живым, пожалуйста», написанное ею, дышало той же взрослой женской жалостью, что и письма другим – многим, многим ее одноклассникам, воевавшим сейчас на пространстве от Черного моря до Полярного круга. Отвечала ему из одной нетяжелой повинности, понимания, как он нуждается в письмах ее, как нуждается каждый теперь в подтверждении своего бытия женским словом и взглядом. Отвечала ему, подчиняясь простому движению души – ставшей словно бы частью той женской и детской души, что писала любому и всем, кто на фронте: «Дорогой товарищ боец! Когда пойдешь в бой, бей немца насмерть!»

Сообщала Зворыгину о своих одноклассниках – тонкоруких, домашних, ни к чему, кроме точных наук или музыки, не приспособленных мальчишках, что теперь стали рваться на фронт со своей близорукостью и неподдельными грыжами, не могли усидеть по домам от стыда за свою исключительность, бронь, и такой-то забегал к ней домой попрощаться, невозможно смешной и до слез, задыхания жалкий в непомерной шинели, доходящей до пят и до кончиков пальцев, и теперь она пишет не только Зворыгину, но еще и такому-то.

Совершенно зеленые девочки целыми школами, не закончив 10-го класса, поступают на курсы радисток, медсестер, сандружинниц, сообщала она. Актеры Большого театра передают значительные денежные средства в фонд постройки эскадрильи. Дети тех, кто на фронте, стоят у токарных станков – высоко над землей, на составленных ящиках: только так они могут дотянуться до всех пусковых рычагов. Мужички с ноготок. Набивают патронные ленты для авиапулеметов Зворыгина. Ухаживают за телятами на животноводческой ферме колхоза «Гигант». Во дворцах пионеров устроены выставки: что может сделать ребенок в подарок бойцу – кисет с коряво вышитой красной звездой, баульчик для катушек и иголок, чехольчик для расчески, домино.

А еще она много писала о скудных пайках для трудящихся тыла и сезамах горкомовских распределителей, о преимуществах летных комсоставовских продаттестатов над рабочими и иждивенческими продуктовыми карточками, о достоинствах и недостатках продельной крупы, об обменянных на полведра помороженной квелой картошки крепдешиновых платьях и о маминой лисьей горжетке, оцененной на рынке в три стакана крупчатой муки, – как же глупо она пробросалась Зворыгиным, а то мог бы сейчас он ее подкормить. А еще о почтарше, которая разнесла по домам только часть писем с фронта, а остальные, гадина, спустила в унитаз, – может, вот кто виною тому, что Зворыгину нет больше писем от Ники, как и ей от него? Перестала писать, словно уж без остатка истратила то пионерски и сестрински чистое, что могла дать Зворыгину, – или кто-то, войдя в ее жизнь, занял в ней столько места, сколько лезвие в ручке складного ножа, и писать ему только из «дружеских чувств», «уважения к фронтовику» или жалости было бы для него унизительно.

Крыши хат и сараев отчетливо уж рисовались на фоне светлеющей выси. За чертой на востоке томилось незримое солнце. Толкнувшись с чурбака, Григорий двинул в хату – по вышитой холодным росным серебром барашковой траве лег его свежий дымчатый след. Ленка свесил с полатей босые ступни и глядел на Зворыгина сверху вниз, точно филин.

– Что, уже на ногах, Гришка Победоносец? Очередной припадок творческого вдохновения? А этого – Тинка ночевать позвала? Завидую и факту, и объекту. А мы с тобою ни хрена мышей не ловим.

– Пресеку я когда-нибудь это. Всех в колючий ошейник, – уверил Зворыгин, усевшись за стол и откидывая полотенце с пайкового белого ситника и чугунок с остывшею картошкой: солдатская вдова Наталья кормила их, «воздушную пехоту», чем могла, да еще виноватилась: немцы вымели все подчистую – хотя в этом должны перед нею виниться они. – Ну вот какой

он будет в воздухе теперь? Млявота, размазня. А машину, ее надо задницей чувствовать. Перегрев – как свою ненормальную температуру.

– Тут, Гриша, другое, – сказал Лapidус, слетая с печи. – Тут если не сейчас, то, может, никогда.

– Бугаиная философия. Сегодня дай ему корову, а поутру на мясо забивай.

– А немцы, что не люди в этом смысле? Или что, нет пилота в Тюльпане, а, Гриш?

– Не знаю. Как мертвый. Все видит, все чувствует. И никогда не ошибается.

– Ну скажешь. Это какая-то не наша точка зрения, мистическая.

– Вот именно: не наша, а его.

Позавтракав, влезли в свои гимнастерки, давно побелевшие на лопатках от соли и пота, впряглись в пожелтевшую сбрую и вышли на двор. Солнце уж подбирало росу, ненасытно лизало тесовые крыши построек, прорезало косыми лучами узорчье яблонь и вишен.

За соседским плетнем, под развесистой яблоней увидели Султана с «объектом» – черноглазую чертовой девкой в одной только нижней рубашке: Алевтина смотрела снизу вверх на Султана с такою бесстыдной, доверяющей жадностью, что поперек их скороспелой близости нельзя было сказать ни слова. Она не хотела его отпускать, по-собачьи заглядывая в сожженное загаром горбоносое чеканное Султаново лицо, но уже подхватила Султана, Лapidуса, Зворыгина необсуждаемая огненная сила, и пошли, как почти каждый день, и уже показалось за околицей летное поле с чередой капониров, вовсе не отличимых от древних курганов или просто пологих холмов.

– Зевнешь мне сегодня «худых», – сказал Ахмет-хану Зворыгин, – я тебя сим же вечером выхолощу.

Затянули знакомую песню упрямы моторы, и привычным, по скорости равным течению крови движением Зворыгин отдал ручку управления от себя. Друг за дружкой взошли в высоту, отложились тенью от зворыгинской «кобры» Поярков, Лapidус, Февралев, Ахмет-хан и Гречихин. На десять часов, десять градусов ниже плыли в девственной сини изящные долготелые «пешки» Антипова. «Ну, проведешь меня до траверса Анапы, как девушку под ручку до парадного?» – спросил вчера Зворыгина Антипов на выходе из людного штабного блиндажа, словно спросил: «Пойдешь купаться завтра?»

Шли и шли, покрывая гектары воздушного поля. В полусферах лазури – ни единого крестообразного пятнышка, но от этого только сильнее гудел чистый воздух: вот как раз из такой безмятежной просолненной синевы нарождается шквально-обломное пламя атаки таких, как Тюльпан.

Небо стало рябым от гостинцев беззвучно затаивавших «флаков», а еще через миг впереди и правее Григорий увидел бесконечно знакомое, скучное и как будто нестрашное зрелище – привычное, как тронутые ветром шары седого перекасти-поля для глаза старого воздушного кочевника, – протянувшиеся по земле шерстяные белесые нити, означавшие близкий самолетный буран наверху. Скоростные же «пешки» Антипова, проскочив сквозь барашки зенитных разрывов, по цепи стали рушиться на немецкое скопище техники, в стремительном падении избавляясь от бомбового груза, опростались и взмыли в прозрачную, цельную высь, продолжая упрямо лететь на закат, – по-за ними пробитая, пронятая до каких-то утробных глубин тяжеленным ударом, содрогнувшись, подбросив дома и машины, земля. Раскидистые черные деревья с чащобной густотой вымахали из земли, точно вызревший в недрах ее неуместимый, разрывающий гнев наконец-то вскипел и одним разом вытолкнул, выкорчевал, разметал все хозяйство пришедших на нее чужаков. А Зворыгин, как будто и вовсе не глядя туда, в распухавшую тучу погребального праха, глядя только направо, в тот небесный отдел, где, скорее всего, и должны были появиться *они*, различил комариные очерки, через миг превращенные скоростью в темные, безупречно отлизанные силуэты «худых». Четверка «мессершмиттов» неслась наперерез антиповскому выводку.

Только тут облегченные «пешки» потянули в томительно долгий пологий роевой разворот – в направлении к свинцовому, голубому бескрайнему студню; правый крайний, летевший всех ближе к Зворыгину бомбер в развороте над морем отстал от своих – скособоченный, отяжелевший и, похоже, подшибленный «эрликоном» еще на подлете. Тотчас парочка «мессеров» ринулась по пахучему следу его, убивая форсажем дистанцию, подходя на длину огневого своего языка...

– Мишка, вверх! – проорал он Пояркову, вздернув беззаветно послушную «кобру» на горку, сделал переворот и западал...

Оба пали с воздушной горы прямо в хвост ничего уж не видящим немцам... А вот хер вам обоим от зубов до хвоста – как вклеили из двух своих пушек им сзади, пробивая в обшивке метровые дыры, – разорвали в ошметья. Но и сам он, Зворыгин, ушел на мгновение этой атаки из точки всевидения, – «петляков», что летел ближе всех к инвалиду, содрогнулся, как будто наскочил на незримую глыбу: получил восходящий удар в неприкрытый испод и, как будто уже переполненный пламенем, начал толкать из моторной гондолы клубы антрацитовочерного дыма. И Зворыгин заныл сквозь сведенные зубы от гнева на себя самого, с покаянной мукой выедавая глазами клочок низовой пустоты – свечкой вышел оттуда в зенит «мессершмитт», опрозраченный скоростью даже на взмыве. Где он, где?! С непосильной для глаза мгновенностью опрокинулся через крыло и обрушился на «петляковых», и Григорий какой-то далекой, зачужавшей рукой тотчас вздыбил машину навстречу – и немедленно простыл на оси того самого безучастного светлого взгляда: этот взгляд просквозил помертвевший зворыгинский череп, вмуровал его в мертвую стынь превышающей воли своей и не только в пространстве обессилил Зворыгина, но и во времени, видя все, что Григорий сотворит со своей машиной отсюда до точки, – ровно то, что заставит Зворыгина *он* сотворить, ничего не дозволив неожиданного и бесподобного, загоняя на горку, прогибая в пике и вжимая в свинцовую воду: ничего любопытного нет для Тюльпана в безыдейной его голове.

В отгонявшем Тюльпана от «пешек» надрывном кабрировании надавил на гашетку, у того перед носом выставляя забор, зная, что ни одной своей меткой не зацепит *его*, видя, как все отсечные трассы проносятся сквозь скоростную филигрань переменного профиля и едва уловимого рысканья. Вот Тюльпан *предсказуемо* смазался в сторону от «петляковых» и пошел по отвесу в зенит, и уже через миг чей-то взгляд пробуравил затылок Зворыгина – раньше, чем он увидел у себя за хвостом подражателя Борха, двойника, слишком долго живущего в анабиозе прямого полета, чтобы тотчас же не потерять законцовку крыла: это Мишка Поярков, спикировав между «худым» и Григорием наискось, обварил смертной студью ублюдка и вымел того у Зворыгина из-под хвоста.

Зворыгин вертел головой, вбирая всей кровью пространство меж солнцем и морем и словно бы даже не видя ни длинных больших силуэтов стремительных «пешек», ни тонких очерков десятка «мессершмиттов», но явственно чуя движения всех разнообразных человеческих мыслей и воль – как разряд, как удар, грозовое сгущение воздуха над головой и кромсавшую небо на остроугольные голубые краяхи отточенную самолетную молнию.

Все было не так, как Зворыгин хотел: восемь «пешек» Антипова пеленгом шли над пустынной Цемесской бухтой, стройно и неуклонно вырываясь из смертного поля, – надо было сберечь их, и только. «Мессершмитты» попарно заходили на бомберы сверху, одновременно рушились с севера, юга, заката, вываливаясь из солнца и отворачивая вспять, когда «аэрокобры» обращались им навстречу. Бортовые стрелки «петляковых» поливали свои хвостовые полусферы из задних турелей, не давая «худым» подобраться к себе на расстрельную стометровку и ближе.

В вышине, надо всей суматохой, висел совершенно незримый Тюльпан, никуда не спешивший и способный обрушиться с кручи на любую тяжелую «пешку» в то мгновение, как все они, тридцать иванов, ослепнут, не могущие жить на пределе внимания все время, и Зво-

рыгин мог только обляять *его*, развернувшись к Тюльпану с кабрированием, но не ринуться следом в вышину или вниз, не затеять с *ним* личную вольную карусель с непрерывной взаимною ласкою нежными взорами. Разнимало Зворыгина надвое – так хотелось ему потянуть за Тюльпаном в зенит и с такою же властною силой – оставаться цепною собакой при бомберах, ведь троих уже отдал *ему* на расклев, троих антиповских ребят, сгоревших в небе заживо. Неужель и сегодня этот черт не почует какой бы то ни было боли?

И как будто услышал Зворыгина *он*: что-то мигом сгустилось из солнечной пустоши за спиною и над головой – Борх упал наковальней, выбрав не бомбовоз, а его.

Человеком со стесанной кожей Зворыгин швырнул себя в сторону, уходя из-под трассы, которой Тюльпан охлестнул его свыше – любопытствуя, пощекотал. Самолетная тень просекла пустоту за хвостом у Зворыгина, продолжая падение к воде, а не взмыла над ним и не отяжелела у него на хвосте, потому что тогда бы Поярков прицепился к Тюльпану репьем. И Зворыгин, чугунной болванкой спикировав следом, аккуратнейшим образом вынес под выход Тюльпана на горку прицел, и любой бы другой целиком был в зворыгинской власти, на одном лишь рефлексе рванув от воды, но у *этого* был не рефлекс, не какой-то один соле-ноид в мозгу, а способность предвидения.

Запустив восходящий поток в радиатор, погасил свою скорость в падении и, едва не расплющившись о непроломную толщу воды, вышел в горизонтальный полет возле самой серебристо-чешуйчатой прорвы. И, немедленно выгорев до пустоты в боевом развороте направо, заходил уж Зворыгину в хвост, и с началом косого виража из-под трассы Тюльпана обварило зворыгинский мозг понимание: ждал *он*, ждал от Зворыгина именно этого – затащил его, дурня, сюда, на последний предел низины, где тяжелая «аэрокобра» со своею немереной скоростью становилась утюг утюгом, этажеркой начала двадцатого века по сравнению с изящно-разворотливым «мессером». Затащил в ареал своей силы и пошел виражить, загоняя Зворыгина на закритический угол атаки. Просто сжечь его в воздухе, как остальных, – это не удовольствие было для Борха, удовольствие было подвесить его на ремнях вниз башкой, в тупиковом безжалостном штопоре, чтобы он, кувыряясь к воде, в хаотичном предсмертном вращении почувал себя совершенным ничтожеством.

На такой низине ни один оборвавшийся в штопор летун не успеет поправиться, и вот как еще он не сорвался в уродство, Зворыгин, раз за разом себя выжимая из чугунного непроротного нищенства, чуть ли не становясь на крыло. Это лишь для стороннего глаза подобный вираж был единой живой непрерывностью, а Зворыгин на каждом четвертом сердечном ударе ощущал, что машина готова свалиться в тошнотное винтовое вращение, и давал сектор газа до предела вперед. Только так, непрестанно – рывками, точно сердцем самим и сечешь на куски нутрянную моторную музыку, обращая ее то во व्यюжный порыв, то в тягучую детскую жалобу. И еще приходилось при этом с упорством секундника поворачивать в сторону «пешек», на восток, на родной Геленджик, гнаться за караваном, не теряя из виду его, забавляя всевластного гада своей предсказуемостью, но и Борх, так расчетливо, дальнорко спаявший скорость мысли своей с послушанием верткой машины, все же был человеком, из мяса, – измочалив Зворыгина и в какую-то меру умаявшись сам, на огромные десять секунд отпускал столь забавно живучего русского, совершая щадящий вираж и давая мгновение на роздых ему и себе самому.

Клокотали, пузырились в бедном мозгу безнадежно-убогие мысли-идеи... и рванул по прямой круто в гору, зная, что Борху стоит немного призадрать на него свой тюльпановый нос для того, чтобы разворотить ему трассой мотор: штопор, да, тебе? На! В высшей точке надрывного взмыва – ручку вправо рывком до упора и левой ноги! На дыбы встала «кобра», зависнув бессильно в сиянии голубизны, и огромная плоскость свинцовой воды начала винтовое вращение навстречу ему, – кувыряясь, западал, Борху не оставляя сомнения, что еще через миг расшибется о воду. Отсчитав три чудовищно нудных витка, с выкорчевывающей

силой рванул самолетную ручку обратно – перестала кружиться с ровным остервенением вода, поплыла, уходя косо вниз, под крыло, со знакомою силой Григория вжало в сиденье, мигом оповещая его, что живой.

Тюльпан, показалось, был даже слегка удивлен, но еще через миг вновь вонзился в горячий зворыгинский след, сам едва не разбившись о водную толщу. А вот это ты зря – слишком, слишком прижался к воде. Ледяной, дальнзоркий колдун позабыл о высотной шкале, оказавшись хотя бы на миг существом недалеким, – и Зворыгин запел:

– Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг... – подпуская поближе неправдиво растравленного, до какой-то мальчишеской, девственной дурости помолодевшего Борха.

Впрочем, Борх, хорошо изучивший его, ясно видел, что Зворыгин не может проделать любимого трюка сейчас – сбросить газ, обрывая дыхание и сердце, и своею уродливой бочкой провалиться ему под мотор, пропуская вперед, на убой: никакой высоты под Зворыгиным не было – сразу вода. И Зворыгин почуял, как он усмехнулся в своем самомнении: ну, иван, что ты можешь еще показать? Вижу, вижу, что ты до конца себя выпростал и теперь у меня на крюке, словно склизкий пудовый налим без молоки и всех потрохов.

Заломив свой уют на крыло, запалил на Тюльпаном косую петлю, ощущая себя опрокинутой, разорваться готовой бутылкой, из которой вода не идет, потому что та слишком полна, вышел в горизонтальный полет за немецким хвостом с превышением в пять корпусов, всею мощностью пришпоренной «аэрокобры» сожрал расстояние между, погасив сумасшедшую скорость вstopорщенными тормозными щитками, и пошел почти вровень с Тюльпаном, опускаясь на Борха своим обтекаемым выпуклым брюхом, прижимая хозяина неба к воде, выпуская из крыльев железные ноги шасси, словно когти огромного ястреба-тетеревятника, – в окончательном, чистом, ледовитом господстве над тварью, не могущей уйти никуда. Разворот и вираж вправо-влево? На горку? Красным носом-цветком в серебристую воду? Все теперь уже было – под зворыгинский винт, на взаимный разнос и посмертную спайку.

Вот какой нищетой он Тюльпана накрыл, как плитой, – провалился на метр последний, и стальная нога каучуковой шиной размозжила стеклянное темя кабины. Что-то треснуло, брызнуло, вскрикнуло, и горячий рассол этой крови плеснулся Зворыгину в мозг. Он немного подпернул машину: из-под кока его торжествующей «кобры» – будто уж по воде – выплыл красный цветок, а за длинным капотом – проломленный пневматическим прессом фонарь. И в зиянии пролома Зворыгин увидел красно-черную голову будто бы шахматной пешки – человека, висевшего на ремнях, как тряпичнонабитый, и глядевшего под ноги, словно там было самое для него интересное.

«Мессершмитт» завиял без царя в голове, продолжая скользить над валами, задрожал, покривился и вмазлся в студенистую воду почти что плашмя, ровно как неизвестной породы морское животное.

Распираемый силой Зворыгин заложил над дюралевой тушей вираж, озираясь, где кто, где свои, где чужие, приближаясь предельно опять к остывающей точке кипения – жрать уходившую под воду жалкую малость Тюльпана, как в позорном июне 41-го года – своего ненаглядного первого немца. Голова в черном кожаном шлеме поползла, заломилась за всей тушей вправо, и прозрачный фонарь, зачерпнувший пробоиной воду, погрузился в свинцовую глубину, и уже лишь крыло, как акулий плавник, продолжало торчать из воды.

Неужели вот это могло так ужасно Зворыгиным в небе владеть, красотой своего боевого полета целиком убивать его волю и делать ничтожеством? Или не было вовсе никакого хозяина неба – был один только образ, откормленный на русском страхе, и Зворыгин сейчас наконец-то убил русский страх?

– Ай-ай-ай-я-йя-я! – сквозь прозрачное оледенение буром ворвался прямо в череп Зво-
рыгина крик завывавшего, словно мулла с минарета, Султана. – Ты, ты, ты его, Гришка!
Ногой! – И отдельно ему, по складам, словно сам он не понял еще: – Это! Ты! Гриша! Ты!
Ты! Тюльпана! Убил! За Шакро-о! За всех наших! Дальше! Будем! Господствовать! Мы!

Часть вторая

Дальше будем господствовать мы

1

Я убит? Я воскрес? Как я здесь очутился? Где я? Каждый немец на всем протяжении фронтов от Полярного круга до Ялты задавал себе те же вопросы. Что же с нами случилось? С нашей армией, гением, силой? Почему ничего до сих пор не закончилось и не видно конца? Сколько кружев сплели в украинских степях и на русской равнине остроумный фон Клейст и живущий движением Гудериан, управляясь с армадами танков, как с одною машиной. Их рокадные перемещения, клещи, вальсирование дали нам цифры русских потерь в шесть нулей, и за взятыми с боем Смоленском и Вязмой уже не забрезжила – засияла победа. Впереди нет врагов, позади – эшелон, груженный не шинелями, не глизантином для обыкновенных танковых моторов, а циклопическими плитами коричневого финского гранита для создания идола фюрера в центре Москвы. И вдруг все споткнулось, остановилось в понимании, что под Москвой что-то сделалось нечеловечески не так; что выходного напряжения в катушке Альфреда фон Шлиффена²⁶ впервые не хватило – перевалить широкий бруствер из тел *последних* русских ополченцев оказалось трудней, чем Арденны. В безукоризненно отлаженных часах перестала вращаться секундная стрелка, а минутная и часовая вообще предсмотрены не были. В нашем слое реальности – в небе – наша волчья эскадра сожгла свыше тысячи русских машин всех пород, став для сталинских соколов именем силы, воплощением божьего гнева и неотвратимой судьбы, но на русской земле... опустившись на землю, оказавшись среди офицеров пехотных дивизий, панцерваффе, армейских штабов, мы хотели услышать от них объяснение «всего».

Говорили, что русские с первых же дней стали драться с упорством зверей, осязаемым еще на границе, под Брестом, и вышедшим далеко за пределы немецкой шкалы измерений под Ельней – наподобие русских же отрицательных температур. Говорили, что бросить танки Гудериана на юг, в тыл группировке красных войск, упершихся под Киевом, было не гениальным маневром, а критическим промахом фюрера, – из-за этого мы потеряли динамику на направлении главного удара.

Впрочем, в поезде Днепропетровск – Симферополь мне привелось столкнуться с Рудольфом фон Герсдорфом, прусским юнкером и штабником 1-й танковой группы фон Клейста. В Мировую войну отец его сражался под началом моего. Так вот, этот сумрачный умник, похоже, начитавшийся Толстого, был уверен, что Хайнц-ураган просто физически не мог не повернуть своих танкистов к югу, как бы он ни противился этому всем естеством и огромнейшим опытом. Нацеленная на Москву стремительная красная стрела на деле соскользнула с Ельнинского выступа сама – и как раз потому, что уперлась в то самое озверелое сопротивление русских. Старина Хайнц хотел уберечь своих *Kriegskameraden*²⁷, драгоценные жизни германцев, в то время как Сталин людей не жалел, в то время как русские сами себя не жалели. Гекатомбой под Киевом Сталин закупил себе главное – время и зиму.

О зиме говорили отдельно – как о некоем живом существе, божестве, высшей силе. Говорили, что наши потери от холода, санитарные и безвозвратные, много больше, чем от

²⁶ Альфред фон Шлиффен – виднейший немецкий военачальник и военный теоретик, прародитель доктрины «молниеносной войны».

²⁷ *Kriegskameraden* (нем.) – боевые товарищи.

боевых действий красных: солдаты вермахта в пошитых им вдогонку тоненьких шинелях и подбитых гвоздями юфтяных сапогах промерзают до аспидной черноты рук и ног; мозг под железной каской цепенеет, и не спасают даже теплые подшлемники – кто заснул на посту, тот уже не проснется. Танкисты жгут покрышки под легкими бензиновыми «майбахами», чтобы завестись, и все, от рядовых до оберстов, выпрыгивают из штанов, лишь бы где-то разжиться овчинными тулупом и русскими валенками, – обдирают туземцев, отнимая у них меховые, подбитые ватой, пуховые вещи, расхаживают в женских горжетках и манто, с упрятанными в муфты издрогшими руками, превратившись из победоносных элегантных солдат – покорителей Франции, Бельгии, Польши в дикарей, оборванцев, обрядившихся в шкуры, вызывающих ту же брезгливость, что и русские пленные.

Мы-то жили в раю даже этой зимой: невзирая на климат и убожество русских дорог, убивавших трехосные «мерседесы» и «опели», отдел IVA снабжал нас белым хлебом, говядиной, яйцами, сливочным маслом, концентрированным молоком, консервированной ветчиной и сосисками; после каждого вылета нам полагалось по 25 граммов настоящего кофе, прессованные с сахаром орехи, вяленые финики, миндальные бисквиты, шоколад. С сигаретами, шнапсом, вином тоже полный порядок, а солдатам на передовой даже вымерзший хлеб доставлялся со скрипом.

Фон Герсдорф был сдержан и предупредителен – не то что армейские, заеденные вшами, намерзшиеся в снежных окопах офицеры, больные, желтолицые, измученные неврастеники. Они теперь не слишком привечали нас: в условиях тридцатиградусных морозов наши теплые цигейковые куртки, ватиновые бриджи и унты с электроподогревом вызывали на их обезжиренных лицах гримасы видовой, попрекающей зависти, словно мы свои комбинезоны у них, земнородных, украли.

В феврале мы с Баркхорном, Гризманном и Курцем получили непрошенный отпуск в Крыму и, направляясь на вокзал, столкнулись с ползучей вереницей наших гренадеров: конъюнктивитные глаза, ввалившиеся щеки, грязно-щетиновые, сизые, обморожением тронутые лица, натканые под шинель газеты и солома, отвернутые на уши пилотки, обвязанные бабьими платками, как при зубных мучениях, черепа; кое на ком и вовсе были *лапти* – чудовищных размеров самодельные плетеные из лыка снегоступы. Все это вызвало у нас брезгливый стыд, хотя стыдиться надо было за гений фюрера и нашего Генштаба: кто полагал, что силы заведенной в вермахте пружины достанет, чтобы обогнать вот эту зиму?

Впрочем, я даже не сомневался, что все было задумано, отлажено, заведено и шло, как безотказные часы, в которых каждый муравьиный батальон сжимал свою пружинку так, как надо, но то, что двигалось навстречу нам, ледник, было много сильнее и больше рационального железного завода, и русская температурная шкала, безмерное упорство их солдат – всего лишь частности того природного закона, по которому зимой 41-го года в Москве нам не быть. Иными словами, я разделял толстовский фатализм фон Герсдорфа: все сделалось так, как оно обстоит, не в силу близорукости немецкого Генштаба и неистового самовнушения вождя, а вопреки всем нашим концентрическим ударам и абсолютному воздушному господству.

Впрочем, разве не в этом весь смысл? говорил я себе. Пересилить великий природный закон, который начинает действовать в России, едва в ее пределы приходят убивать и властвовать чужие? Но в ту минуту, когда я смотрел на наших гренадеров, я понимал и чувствовал иное: все фронтовые муки проступали на их облезлых лицах рвущейся в тепло собачьей мордой, а в иных глазах не было даже умоляющей боли и надежды протиснуться между заборных досок на сухую подстилку и к сытной кормушке. Пристывшие взгляды немецких солдат уже не выражали ничего, кроме животного приятия неизбежного и угасания самосознания, когда не то что смысл «всей войны», но даже собственная участь безразлична.

На подступах к Москве, рассказывал фон Герсдорф, бескрайние поля однообразных снежных холмиков, из которых торчат заметенные каски, костяные носы и головки подбитых гвоздями сапог, руки-ветки со скрюченными пятернями и босые ступни сине-черного цвета. Мы достигли предела: германцы не хоронят своих мертвецов.

Я зашел в Ботанический сад у подножия Яйлы: на острых листьях пальм лежали снежные нашлепки – еще не виданная странность, не объяснимая чернорабочей пользой красота. Тишина зимней Ялты оглушила меня: мостовые, ограды, фонари променада, свинцовое море – все было застлано легчайшей, недвижимой сизо-молочной дымкою какого-то предродового бытия; очертания и краски стирались, дневной и ночной свет как будто слились воедино – нереальный, затягивающий в созерцание мир, оттого еще более фантастический и непонятный, что вокруг были самые обыкновенные сооружения для жизни.

Я замирал перед чугунными водоразборными колонками, перед витринами смешных провинциальных фотоателье и даже перед уличными фонарями, не в силах вспомнить ни предназначения, ни названий всех этих осязаемых предметов. Так ощущает себя, верно, выздоравливающий, выходя из больничной палаты на волю и ничего не узнавая в мире, ничуть не изменившемся за время его сражения со смертью. Ковыляющие по бульварам солдаты уже не служили войне, угодившие в этот межеумочный мир и свободные от «*Zu Befehl!*»²⁸, открепленные ото всего ледяного, железного, что держало их жизни когтями так долго.

Я ощущал себя обложенным предохранительной ватой, словно елочный шар, снятый с ветки и убранный в ящик до новой Вифлеемской звезды. Бродил по бульварам, выбирал себе девушку на ночь и думал обо всем, что сказал мне фон Герсдорф.

– Вы, Герман, не живете на земле и потому вы ничего не видите. – Его холеное лицо преобразилось, как будто обданное тусторонней стыlostью, не русским морозом, а чем-то... он даже будто бы еще не побывал «там», а только заглянул «туда» и сразу же отпрянул от повеявшего. – Есть нечто, что много страшнее и русских морозов, и русских ресурсов, которые у них поистине огромны. Мы ожесточили их всех. Не одних только красных фанатиков – всех. За каких-то полгода. Когда мы только вторглись в Белоруссию и Украину, миллионы простых беспартийных крестьян и рабочих, обывателей, интеллигентов, попов еще видели в нас непонятную силу, а иные – и освободителей от большевистской проказы. Они еще не понимали, что мы им несем. Может быть, перемену рабской участи на... на какую-то лучшую. Все убитые мирные жители – при обстрелах, бомбежках, я имею в виду, – эти жертвы еще можно было бы объяснить неизбежностью: *Krieg ist Krieg*²⁹ и подобными пошлостями. Мы расстреливали комиссаров и всех большевистских партийцев – это было бесчестно, но еще поправимо. Как я уже сказал, на коммунистов многим русским наплевать. Иные крестьяне, которых лишили земли и скота, и сами ненавидят эту власть. Но мы взялись за очищение этой территории от евреев... хоть безобиднее народа я не знаю – экономный, пугливый, травоядный народ, всегда так трясшийся за собственные жизни, все эти жалкие старьевщики, часовщики, портные, счетоводы. О, вы, воздушные счастливцы, не представляете себе и сотой доли тех масштабов... А я лично читал послания начальников айнзатцкоманд: они просили у меня солдат, они хотели, чтобы мы занялись их... работой, потому что самим им не хватает ни рук, ни патронов. Но мы ведь на этом не остановились – не ограничились евреями. Мы стали расстреливать тех, кто их прячет. Мы всех приравняли к чумным грызунам и евреям. Что, речь идет о нашем жизненном пространстве? Нам надо очистить его от славян? Их слишком много, да, и столькоих нам не прокормить? Опасно оставлять в своем тылу так много молодых здоровых мужиков? Ну а при чем тут дети, бабы, старики? Давайте

²⁸ *Zu Befehl* (нем.) – «Слушаюсь!», «Есть!».

²⁹ *Krieg ist Krieg* (нем.) – война есть война.

обойдемся без слезливых отступлений, скажете мне вы? Давайте вообще рассматривать все наши действия вне положений лживого, бессмысленного гуманизма? Что ж, давайте. Тогда, быть может, нам сначала стоит взять Москву, и завладеть каспийской нефтью, и обескровить красные заводы, а уж потом заняться расовой гигиеной? Но вместо этого мы сами поджигаем землю у себя под ногами, когда у русских за спиной Урал и сто миллионов здоровых мужчин. Да, мы столкнулись с партизанами, но наши меры устрашения... это какая-то бессмысленная круговерть: подпольное сопротивление – карательные меры – и еще один взорванный мост – и еще одна кара, еще одна сожженная вместе со всеми стариками и младенцами деревня. Кто начал эту чехарду? Большевики? Уже не важно. Каждый новый виток бьет сильнее по нам. Мы добились того, что огромные области в нашем тылу превратились в очаги партизанщины. Те, кто еще вчера встречал нас хлебом-солью, уходят в леса, отравляют колодцы, поджигают амбары с зерном. Даже дряхлый старик, даже женщина, даже ребенок. Что мы им принесли? Справедливость? Свободу? Порядок? Обращение как со скотиной в том смысле, что хозяин свой скот бережет: бить-то бьет, но не режет? Даже этого нет. Мы показали им иное. Свалку трупов. А когда человек видит этот исход, он берет хоть дубину и идет убивать. И вообще: я хочу вам сказать... – Он замолк и с минуту не мог говорить, а потом посмотрел так отчаянно, словно силился вытащить из меня человека, который мог понять его страх, или стыд, или боль. – Скажу вам как потомственный солдат такому же солдату. Убийство – наше ремесло, извечное, и Бог его не отрицает. Вы – истребитель, вы деретесь в воздухе – своего рода идеальной обеззараженной среде, где нет безоружных, бессильных, убогих... Чему усмехаетесь? Вот вы, вот ваш противник, сидящий в такой же машине, как вы, на той же лошади и в тех же латах, если вам угодно. Искусство идет на искусство – все честно. Но, Герман, сражаясь, как рыцари... опять вы смеетесь... мы ведь не просто завоевываем новое пространство на Востоке – мы тянем следом за собой все это: айнзатцкоманды, чистки, истребление. И что потом? – Он заглянул в неотвратимое «потом», немилосердный ад взыскания убитых, как будто кто-то в человеческой истории хоть раз способен был расслышать подземный стон раздавленных и сгнивших, как будто, кроме самой смерти, может ждать человека иное возмездие, как будто всех нас, и убийц, и уничтоженных, не ждет одна земля. – Потом мы станем говорить, что мы дрались на фронте, а жгли и вешали другие? Что, человек, который сплел веревку, менее виновен, чем тот, который затянул петлю на шее жертвы? И если мы не остановимся, то потеряем нашу честь, и нас никто и никогда не назовет солдатами, хоть мы и дрались как солдаты и не пачкали рук этой кровью.

Я усмехался потому, что речи этого «прозревшего солдата» напоминали мне о Руди, наших спорах перед моим отлетом на Восток.

– То, во что мы уверовали как народ, – говорил Руди мне, – есть изнасилование человеческой и всей живой природы. Миллионы германцев начинают свой день с убеждения себя, что они образуют особый, священный народ, что на свете вообще есть два вида двуногих существ – люди, то есть мы, немцы, и все остальные. Бах и Вагнер превыше Скларлатти, Монтеверди, Рамо, Куперена. Это какой-то дикий спор о том, какое дерево ценней и более угодно Богу – шварцвальдская ель или кавказская секвойя. Я ставлю выше Баха, но разве это значит, что надо выдолбить, как сорняки, всех остальных? Обезумелые ветеринары построили расовую иерархию, положив в основание критерии, которые смешны в своей недоказуемости и о которых Господь Бог не знает ничего. Измерение черепа? Да двести лет таких исследований не прояснят, чем череп мекленбуржца отличается от черепа еврея или эскимоса. Высотой таких-то костей, которые, как ты, наверное, догадываешься, имеют весьма отдаленное отношение к их содержанию. А кто такой чистокровный немец? Может, ты или я? Но Борхи происходят из Неаполя. Графы Борхи женились на польских княжнах, на датчанках, австрийках, гречанках, французенках и – о ужас – на русских Тучковых, Пыхачевых, Враницких, Нащокиных, да еще и гордясь, что они породнились вот с этими русскими,

добавляя короны к гербу и не ведая, что на самом-то деле они разжижают арийскую кровь ядовитой славянскою подмесью. Ты не помнишь Татьяну и Лиду, в которых влюблялся по очереди? И женись ты на Лиде, кем бы были сейчас ваши дети? Презренными Mischlinge?³⁰ Кровь снабжает мозги кислородом, кровь сама очищает себя с каждым пульсом, а не говорит о праве на жизнь. Она сама есть это право, да и не право никакое, а способность – смотреть на это дерево, дышать вот этим воздухом, и только.

– В чем ты хочешь меня убедить? – отвечал я ему. – В том, что у размалеванных под зебру лошадей не рождаются полосатые жеребята? Теория Гюнтера и прочих недоумков завиральна, но не более, чем любая другая. Может быть, обойдемся без экскурсов в историю империй и религий? Какому единому Богу должны все молиться, а главное, как – на четвереньках или на коленях? Не имеет значения, какие признаки различных групп положены в основу разделения и вражды...

– Решения вопроса о жизни и смерти...

– Руди, Руди. Кому адресуешь ты этот вопрос? Национал-социалистам? Большевикам? Колонизатором Америки? Британским гарнизонам в Индии? Задай его Господу Богу, которому навязываешь вегетарианство точно так же, как наши горе-антропологи свою бредовую теорию тебе. Кто, как не Бог, построил все существование в природе на убийстве? Это Он почему-то не мог или не захотел сделать так, чтобы все ели травку и никто не жрал мясо. Двуногим надо жить, и они помыкают всеми прочими тварями по своему усмотрению – режут кур, забивают свиней. Этих кур и свиней, плодородных земель, рудных жил слишком мало, а людей слишком много. Надо ли продолжать? С чего бы это людям одного народа поступать с остальными иначе и лучше, чем они поступают с коровами, свиньями и другою своей повседневной поживой? А что делает Бог, говорящий нам всем «не убий»? Он видит, что создал всех нас людоедами, и за свою ошибку истребляет род людской с лица земли, насылая на нас свои ангельские эскадрильи. Если Он не прощает, то почему же мы должны прощать, и если Он не любит нас, свое подобие, то почему же мы должны друг друга возлюбить? Мы – Его дети, мы берем пример с отца. Так на что ты пеняешь? На ложность критериев? Есть только один реальный критерий: жив народ или мертв. Мы можем называться как угодно – высшей расой, Священной Римской империей, ревнителями христианской веры, как наши предки-рыцари, – но суть всегда одна: мы, немцы, должны быть жестокими, чтобы господствовать и жить. Есть человеческая воля к жизни, она и заставляет нас искать любые признаки национальной исключительности или, вернее, просто их выдумывать. Они нужны нам, словно хлыст или бензин, иначе нация и каждый человек останутся инертными и упокоятся в своем ничтожестве навечно. И заметь, мы сегодня еще утруждаем себя изобретением каких-то оснований для войны, мы сегодня еще производим раскопки своей бесподобности на Кавказе, в Крыму или в Индии, а в дальнейшем никто – уж поверь – даже не позаботится принарядить свое троглодитство приличиями. Достаточно будет сказать: «Мы хотим получить эту землю, эту нефть, этот уголь» – и все. Ну, придумают что-нибудь американцы о правах человека на выбор – паранджи, сексуальности или формы купальных костюмов, – и везде, где есть нефть или золото, все священные эти права тотчас будут поруганы – разумеется, в их самых чистых и честных глазах. Наша расовая антропология абсолютно нелепа, груба, но как раз в силу этого внятна. Она недоказуема, но и не требует никаких доказательств. Она – как раз то самое единственное представление о мире, которое сегодня может быть воспринято и даже предварительно затребовано массой. Потерявшие все, кроме собственных рук и мозолей, после нашего жуткого поражения в войне эти массы хотят восхищаться собой, почитать себя выше своих победителей. Выше нас – своих бывших хозяев. Каждый гамбург-

³⁰ Mischlinge (нем.) – «полукровки», «метисы»; юридический расовый термин Третьего рейха, обозначающий потомков межнациональных браков.

ский грузчик, каждый рурский шахтер. Да вся их требуха возопила: о фюрер, приди, дай нам новое имя, дай нам превозвестись. А выше кого может стать вот эта тупая, пропахшая пивом и капустной отрыжкой шваль? Выше Баха и Шенберга, выше Круппов и Тиссенев, выше наших господ индустрии, науки, войны? Выше нас с тобой, Борхов? Ну, это большевистская утопия, не менее бредовая и отрицающая замысел Господень, чем наша современная антропология или твое желание видеть немцев травоядными. Скажи спасибо, что германцы не додумались до равенства и не начали резать друг друга, как русские. Нет, каждый немец пожелал возвыситься как немец. Да, лишь в силу того, что у тебя немецкая фамилия и кровь. И эта дикая идея освободила в людях сжатую пружину унижения и злобы, и атрофированная воля нашей нации наконец стала равной своей скрытой подлинности. Энергия этого взрыва ни с чем не сравнима, и пускай она порождена заблуждением и самообманом. Заблуждение это дает сейчас каждому ощущение причастности к общему делу, к абсолютной свободе и силе.

– И ты служишь этому делу? – Брат смотрел на меня с безнадежной тоской, так, как будто прощался со мной, понимая, что ему меня не переделать, не вытащить из колодца моей неизменной природы.

– Ты слушаешь меня, но ты меня не слышишь. Национал-социализм – это всего лишь форма выражения германской воли к доминированию. И моей личной воли. Я – воздушный солдат и артист, для меня абсолютная красота – только там, и эта партия дает мне возможность предельного самоосуществления.

– Тогда дело плохо совсем. – Брат посмотрел в меня неузнающе и будто даже с обвинительным напором, словно услышав то, что переводит меня из палаты душевнобольных в разряд санитаров и даже врачей. – Они соблазнены, обмануты, а ты все понимаешь. Ты отделил себя от массы, от народа, как зоолог от полчищ взбесившихся крыс. Ты смотришь на них взглядом естествоиспытателя, смеясь над их наивностью и прямо поощряя своим молчаливым согласием их вожakov.

– Нет, Руди, я не отделяю себя от народа – я готов разделить его участь, какую бы та ни была. Завтра я буду там, где десятки английских «спитфайров» набросятся на нас, как мухи на дерьмо. Так что если меня и возможно назвать испытателем, то только собственного естества.

– Ну конечно, конечно, ведь это же твое осуществление! Тебе нужны мгновения высшей жизни, я тебя понимаю, чертов ты Фауст. Ну хорошо, ты получил свою войну, допустим, что войны с большевиками было не избежать и с британцами – тоже. Но та кровавая евгеника, которую мы как народ провозгласили своей целью, она что, целиком совпадает с твоей личной волей и правдой? Ты говоришь, что мы не взяли пример с русских, что немцы хотя бы не душат друг друга, но разве ты не видишь, что немцев поделили на истинных и мусор, разносчиков заразы, паразитов? И в чем оправдание? В том, что истинных больше? Или ты посоветуешь мне вспомнить Спарту, в которой я, твой брат, не прожил бы и дня? А евреи? Их ты тоже готов принести в жертву собственной подлинности? Ты несешься вперед, а СС у тебя за спиной решает вопрос низших рас, сумасшедших, кретинов, монголоидов, микроцефалов, коммунистов, бездомных, цыган, педерастов... – Вот тут он осекся и дрогнул: у него самого разве что с «черепным показателем» – полный порядок.

– Знаешь, Руди, тебе, мягко скажем, нужно быть осторожней в высказываниях.

– Даже с собственным братом? – усмехнулся он горестно и незащитно.

– Ты можешь говорить что хочешь, но не здесь. Уезжай. Отправляйся в Давос. Или в Швецию. Здесь ты не сможешь быть самим собой.

– Ты хочешь разделить судьбу народа, а я – нет?

– Оценит ли это народ?

– Ну вот видишь. Тебе приходится признать. Как же можно служить той священной Германии, которую боишься? Если ты не уверен в ее справедливости?..

У Руди слишком много уязвимых мест, он весь – уязвимое место, он – ничей и не может быть чьим-то, как воробей, который просто пьет из лужи. Есть минимум пара железобетонных причин отправить его в Заксенхаузен, пометив не черным, так розовым винкелем³¹. Сперва брат насильствовал душу и плоть, отчаянно пытаясь стать «таким, как все», и даже был помолвлен с чудесной Марией фон Фалькенхайн, но так и не смог переделать себя, объявив Медси, что не способен зачать с ней детей и не хочет лишать ее материнского счастья.

В годы Веймарского государства Берлин был столицей «свободной любви», но Руди и тогда был скрытен чрезвычайно. Не могу сказать, что заставляло его выворачиваться наизнанку и прикидываться «одиноким молодым человеком». То ли просто его нежелание ранить нас всех. То ли ветхозаветный иудейский запрет на такие соития, то есть невытравимое чувство, что врожденной и неодолимой тягой к юношам он оскорбляет Господне творение и уж если не может любить как мужчина, то должен усмирить свое вывернутое естество.

Не думаю, что братом двигал страх изгойства. Дворянская среда достаточно терпима в этом смысле, не говоря уже о музыкантах, о богеме. Страх явился потом, с воцарением фюрера, когда всем было сказано: педерасты заразны – мягкотелы, трусливы, изнеженны, падки на удовольствия, лживы и, по определению, не могут хранить верность родине. Впрочем, думаю, Руди страшился не лагеря, а унижения – того, что гестапо своими мясницкими лапами влезет в сокровенную область его бытия.

Мое отношение к его сексуальности? Три слова: он мой брат. Впрочем, речь не о крови, текущей по родственным жилам, не о том, что родных принимают любыми: кто это сказал? Нет, «возлюби» порой звучит как «должен», «тебя тошнит, а ты себя переупрямь». Я не хочу сказать, что каждый вправе выкидывать в приют родных дебилов и калек, – я говорю о проявившейся и никуда не девшейся способности смотреть на явления Божьего мира как один человек, одинаково чувствовать, слышать – либо вы два чужих человека с одной фамилией, которые без фальши могут разговаривать лишь у могилы матери, да и то не всегда.

Я старше Руди на шестнадцать месяцев. Он – законный насельник той же летней страны, в которой солнечно царила наша мать, чьи тревожные губы быстрее и вернее всех градусников замеряли пожароопасную температуру наших маленьких тел, золотая бесстрашная Эрна, даровавшая нам этот рай, потому что любое нормальное детство – это право на рай. Мы родились в начале Мировой войны, в померанском имении Борхов, в краю, где и серые камни, и серое море безучастно являют и глазу, и слуху одно – исполинскую мощь постоянства, уравнивания, стирания, забвения всего; где холодная скудость природы обучает тебя различать все оттенки прозрачного серого и голубого, все градации и обертоны заунывного рокота Балтики, дыхание которой чувствуется всюду. Впрочем, это пространство воспитало нас с Руди совершенно по-разному: я всегда норовил заселить мир своей небогатой, неулыбчивой родины племенами могучих врагов, зверолицых, когтистых язычников, ледяных великанов (чем беднее реальность, тем отважнее воображение), а для Руди во всей этой бедности, тишине, неподвижности, монотонии уже было все.

Фамильный особняк с обжившими карнизы хищноклювыми химерами и стрелчатými окнами угрюмого фасада вращался вокруг новых Борхов воинственной частной вселенной, которая была наполнена «реликвиями рода»: литографическими картами, гравюрными портретами особо отличавших рубак маркграфских войн, фотографиями кайзеровских кирасиров, вереницами Максимилиановых латников с их гофрированными броневыми наплеч-

³¹ От нем. Winkel – досл.: «угол»; треугольные нашивки на робах заключенных нацистских концлагерей; цвет винкеля указывал на принадлежность к той или иной категории «преступников»: черный – умалишенный, розовый – гомосексуалист и т. д.

никами и «медвежьими лапами», с воробьиными клювами и звериными мордами кованых шлемов, ископаемыми Кастенбрустами в латных юбках и гранд-бацинетах, с огромными двуручными мечами, волнистыми струящимися фламбергами, мясницкими гросс-мессерами, кошкодерами, скьявонесками и палашами – разумеется, я с самых первых шагов предпочел смирным играм сражения.

Крушение Deutsches Reich, народные волнения с красными знаменами, выпуск новой обойной бумаги с шестью и девятью нулями покупательной способности – ничто не сказалось на качестве наших игрушек и снеди. У отца были доли в ривьерских гостиницах, у матери – богатое приданое: рафинадные виллы в Аббации и на Сицилии. Впрочем, мать продала бы и фамильные кольца, лишь бы мы получали все самое лучшее: чудесные скрипучие футбольные мячи, спортивные фланелевые пиджаки и теннисные туфли, шоколад из Швейцарии, кексы из Англии, покрытые серебряною краской алюминиевые модели «мерседесов», в которых я, трехлетний, раскатывал по солнечным аллеям, виртуозно орудуя рулевым колесом и педалями.

Руди же неизменно чурался быстrolетных машин, механических ружей и редко позволял нам с Эрихом затаскивать его в свои воинственные игрища: мы с Буби разоряли сады окрестных фермеров, воровали их яблоки и поджигали солому в сараях – не потому, что были голодны или озлоблены, а потому, что представляли себя конквистадорами и викингами. Мы были движимы необсуждаемою тягой к нарушению запретов, к расширению пределов телесного своего бытия. Начитавшись Майн Рида, Фалькенгорста и Купера, мы раздевались чуть не донага, украшали друг друга гусиными перьями и, подражая делаварам, забирались в самую чащобу Мюрицкого леса. Мы строили плоты, которые держали нас на честном слове, когда мы стаскивали их на «настоящую водичку». Мы хвастались друг перед другом величиною наших мускулов, и каждым летом наша кожа приобретала истинно индейский бронзовый оттенок, отменно закаленная балтийскими ветрами и водой померанских лагун.

Если мне или Буби хотелось наполнить пространство беготнею и криками, словно из несогласия с ходом природного времени и желания его обогнать, привнести в него смысл нашей гоночной скорости, освоения и обладания, Руди, наоборот, открывался окрестной тишине и прозрачности, отдавая природе то как раз, что нам с Буби давалось труднее всего, – неподвижность, молчание и послушание. Если меня в одиннадцать годков застали на крыше сарая впряженным в чудовищный планер, сооруженный из бамбуковых распилок этажерки и раскрытых ножницами одеял (лишь навозная яма спасла меня от переломов цыплячьих конечностей), Руди одолевал притяжение земли по-иному – замирая надолго посреди совершенно бездвижного леса или на побережье, где только песчаные отмели, меловые утесы да редкие низкорослые сосны, накрененные ветром от моря к земле. Брат будто бы перенимал у воздуха единственное свойство – способность бережно и свято проводить в неведомую область каждый звук, будь он уныл, печален или радостен.

Однажды брат – в особенно морозном декабре, когда дыхание перехватывало и чугунные прутья ограды обжигали ладонь без перчатки, – не вышел к ужину, пропал, мы кинулись искать, сначала думали, что он забрался на чердак, а потом уже двинулись в лес с фонарями. Вокруг была та строгая, немая и воцарившаяся будто бы навечно красота, которая одною зимней стужей и может быть сотворена, ледяным дуновением силы, никого не жалеющей и потому создающей миры без изъяна. Заиндевелые деревья принадлежали царству минералов – не деревья, а камни, кораллы, возникшие на вечность раньше, чем деревья. Руди мы нашли под старым дубом, превратившимся в мощный, натруженный ростом кристалл: мой брат сидел между столетних корней, неподвижный и белый, как обряженный в снежную шубку ангелок на могиле ребенка, и на обданном стылостью белом лице жили только глаза. И я понял, что он, столь живой и горячий, не мог не прислушаться к неумолчному звону лесной тишины, против собственной воли затянутый в космос мерцательных призыву-

ков, из которого нет и не надо возврата. И сразу следом за уколом страха я почувствовал бессильную жалость к нему, не способную что-то поправить и наставить его на «путь истинный», — эта жалость во мне и поныне.

Вместо того чтоб показать нас с Руди какому-нибудь модному в ту пору шарлатану от психиатрии (один строит планеры, а другой вообще, судя по поведению, болен «прогрессирующим лунатизмом»), наша мать, золотая бесстрашная Эрна, купила мне «Цоглинг», а еще через год — и «Малютку Грюнау», подарив изначальное чудо отрыва, а для брата был нанят педагог из Еврейской школы Холлендеров, переправленный нами впоследствии в Швецию вместе с семейством. Мать всегда защищала нас перед отцом, который и саму ее считал — и не без основания — сумасшедшей.

Наш отец, Хеннинг Клаус Мария Шенк Борх, разумеется, тоже окончил кадетскую школу, в Мировую войну эталонно командовал ротой горных стрелков «Эдельвейса» и сорвал в Доломитовых Альпах наступление целой итальянской дивизии, за что и получил *Pour le Mérite* — изящный синий крест, составленный как будто из ласточьих хвостов; никогда я не видел награды красивее, чем эта высшая награда уже не существующей империи, эпохи, эры войн, когда многое, если не все, решалось личной силой вожаков и чистотой полководческого почерка (Брусилова, Петена, Жоффра, Людендорфа). Внезапно и ужасно ощутивший себя под Верденом ничтожеством, отец страдал от ежедневного кровотечения «Германия унижена» и, само собой, связывал с нами надежды понятно на что. Что там Руди с его колокольчиками, когда и мое увлечение «аэро» отвращало его от меня, представляясь ему формой бегства от честной земляной концентрированной смерти, разделяемой аристократом с народом?

С авиацией как родом войск у него были личные счеты. Вот вам художественное остроумие судьбы — отец был искалечен первосамолетами, народившейся силою новой эпохи, воплощением уже не его, а моей предстоящей войны: свинцовая стрела с трехгранным накопником вонзилась ему в ляжку, когда он пил утренний кофе, сидя на оружейном лафете и не передергиваясь от привычных шрапнельных разрывов и посвиста пуль. Пилоты французских бипланов ворохами вытряхивали эти стрелы из ящиков над скоплениями нашей пехоты. Стимфалийские птицы, роняющие на немецкие головы смертоносные перья. Что-то от рока древних было в этой новаторской смерти, беззвучно пикирующей с самолетных небес. К Руди этот железный хромец относился со спартанской безразличностью, словно к самому слабому в нашем помете щенку: раздражающий меланхоличной своей отрешенностью, Руди стал для него страшноватым симптомом вырождения Борхов.

Обращенный в себя и никак не могущий ужиться с собою самим, наш таинственный брат до шестнадцати лет оставался одиноко растущей стыдливой мимозой, никому не известный и будто бы вовсе не желавший быть кем-то услышанным, а потом мать без спроса пустила в обращение его фортепианные пьесы, и они восхитили и дряхлого Штрауса, и «властителей дум поколения» Берга и Веберна. Руди быстро прошел сквозь искушение жирной новизной сериализма, распрощавшись с идеями Шенберга раньше, чем этот еврей был загнан немцами в разряд дегенератов, и сделав это из соображений, весьма далеких от инстинкта самосохранения. Его «Освобождение из лона», «Мир молчит» и особенно «Благодарение» меня завораживают. Помню, как мы гуляли по Штральзунду и зашли в небольшую, по-моему, шведскую кирху согреться. Мои щеки ободраны ветром, я не чувствую холода ног, а еще через миг — всего холода мира, и это *Jesus bleibet meine Freude* разносит все мое нутро по высоте. И, почувствовав, что неуместимый восторг бытия клетку ребер сейчас разорвет, я беру брата за руку, Бах течет в нас, как кровь, сообщая, что мы с ним — одно. Дуновение этой же силы я чувствовал в собственной музыке Руди — алмазно твердые и невосомые аккорды, почти что исчезающее, слабое, но не могущее погаснуть никогда полярное сияние, зачарованный собственной тишиной снежный мир, который соткан из несметных

одинаковых трезвучий: Руди перебирал их, как четки, и единственное, что его занимало, – это их чистота, производство такой чистоты, что даже для меня и прочих тугоухих особей она звучала как неоднородная. Так эскимосы различают множество различных состояний льда и никогда друг с другом их не перепутают.

Быть выдвинутым в «первый ряд» теперешних немецких композиторов он, разумеется, не мог: теперь мерилom музыкального величия могли быть только «выражающие национальный дух» литавры и фанфары, в программах филармоний царили лишь вагнерианская громокипящая мегаломания и пафос, все эти Вотаны, Брунгильды, Зигфриды, валькирии, в то время как Руди вообще ничего не хотел *выражать*, а тем более громко. Высоко его ставивший Штраус предложил ему, впрочем, членство в Reichsmusikkammer, что избавляло Руди от призыва в действующую армию: абсолютная воля империи уравнивала немецкое простонародье с потомственной аристократией, и даже дети рейхсминистров должны были служить на общих основаниях – командирами танков и подносчиками орудийных расчетов, – точно так же, как отданный Сталиным на заклятие Яков. Музыкантов, артистов и прочих «выразителей национального духа» еще берегли, равно как и ученых, конструкторов, механиков – всех, кто мог создавать для империи новые самолеты и танки.

Положение Руди в Имперской музыкальной палате было более чем шатким: он уклонялся от вступления в партию, уверяя, что музыка, сочиненная им, не становится более или менее немецкой от того, что он, Руди, «еще не в рядах». До недавнего времени он проходил по разряду «блаженных»: ну какие претензии могут быть к птицам, к собакам?

Оказалось, что могут. Сочинения брата порой исполнялись в нейтральных пределах – вот кто-то из британских дипломатов и отправил одну из его партитур в кругосветное плавание. Бесподобная «Зимняя музыка» и позднейшее «Благодарение» были записаны Королевским оркестром для радио, кто-то в Красном Кресте догадался использовать их как лекарство, где-то между уколами морфия и святыми отцами, облегчая агонию безнадежных больных. В английских газетах написали о «музыке исцеления и милосердия», о молодом немецком композиторе, «услышавшем всечеловеческую боль» и «воззавшем из сердца нацистской Германии к состраданию и примирению». Два десятка доносов тиражом в миллион экземпляров. Руди был освещен ярким светом, словно рыба в ночной глубине нечаянно упавшим на нее прожекторным лучом. И теперь под ним медленно накренилась земля: все трудней устоять, не сбежать под уклон – и, наверное, все-таки лучше на фронт, чем в железную пасть Заксенхаузена.

Конечно, я живу со знанием, что Борхи не равны немецкому простонародью: никто из нас не побежит на бойню из-под палки. Один звонок отца товарищам в Oberkommando der Wehrmacht – и протянувшиеся к Руди щупальца ослабнут: он будет устроен на теплое место в тылу, в какой-нибудь штаб или прямо в военный оркестр... Но безотчетный детский страх, который сщемило мое сердце той ночью, когда брат пропал в зачарованном снежном лесу, нет-нет да и скребется мышьями коготками внутри.

2

– Ты, подружка моя Тося, я тебе советую: никому ты не давай, а заткни газетою! – голосили они во всю мочь, сотрясаясь в громыхавшей полуторке и едва не валясь друг на друга, – Лapidус, Ахмет-хан и Зворыгин.

Завывал, надрывался захлюстанный «газик», пожирая грунтовку и прокатываясь по мостам из ошкуренных наспех, проседающих под его тяжестью бревен; оставлял позади размолоченные и простреленные перелески в буреломных проплешинах, свалках перебитых и вырванных с корнем деревьев, обгорелые остовы танков, самоходок, машин. И тянулись, тянулись поля с пепелищами выжженных, срытых с земли деревень – словно кладбищ с

надгробиями черных от копоти русских печей, и рычащим, сигналившим встречным потоком катились трехтонки, «студебекеры» с хищно обрешеченным рылом и скошенным лбом, вездеходные злые кургузые «виллисы» с восседавшими барственно капитанами и подполковниками всевозможных наземных пород.

А они убывали в Москву – по приказу главкома авиации Новикова – и как будто уж были не здесь, предвкушая, как сойдут на неведомом аэродроме и пройдут по Тверской и Арбату: в чешуе боевых орденов, в ощущении собственной силы – и все штабные и гражданские мужчины, с их белейшими воротничками и сытыми лицами, будут жаться смятенно и завистливо по сторонам, уступая им, летчикам, несомненным героям, дорогу, и весение, чистые, нежные девушки будут исподтишка или смело оскальзывать их восхищенными взглядами... и вот то, что вокруг простиралось разорища, что еще только третьего дня подожжен был у них на глазах Февралев, что сейчас время вдовьих платков, перехваченных горькими скобками губ, – это все могло лишь притупить, придавить, но не выдавить из летунов совершенно безмозглую радость торжествующего бытия, ту свободную неумолимую тягу, что несет напролом сквозь чащобу ослепшего лоса и швыряет под выстрел сторожкого селезня.

Жить хотелось – сейчас, тем сильней, что война впереди еще долгая, и как знать, может, завтра уже суждено им упасть в бугор, стать горелой землей и отцветшей травой там, куда даже мать не придет на поминки...

А навстречу тянулась уже не колонна рычащих машин, а пехотная рать, вереницы изматанных, пропыленных бойцов – в порыжелых обмотках, разбитых ботинках, с притороченными котелками и касками, с высоченным заплечным леском трехлинеек, с СВТ, с ПППШ (уж теперь подавляюще больше стало этих новейших характерных винтовочных рылец, сменных дисков и дырчатых вороных кожухов), с минометными плитами и пэтэрами, которые несли ребята парно, точно Ленин с рабочим – бревно на субботнике. Гимнастерки их были черны от набившейся пыли, а над их головами в линиях пилотках, с бисерящимися обложною испариной лбами, надо всею степною землей с бело-желтой сухменью травы беспощадно стоял мертвый зной. И когда поравнялись летуны с этим строем, потекли перед взглядом угрюмые лица пехоты, вмиг улыбочки с губ посмело, словно венником, и не то чтобы стыд, но давящее неудобство почуяли, оттого что вот эти ребята – маршем на передок, а они трое – в тыл. И, взглянув в лица этих бойцов, вспомнил он и других, всех, кого он, Зворыгин, встречал на кисельных и пыльных дорогах войны, тех, которые шли и туда, и оттуда, – не ломаясь в ногах и не падая замертво, хотя кажется, что уж не может терпеть человек, то ли красный от ржавой мочажинной земли, то ли ржавый от крови.

Григорий внезапно подумал, что, в сущности, он и не знает, как воюют они на земле. Обитавший над ними, он конечно же чуял свою связь с людьми, что ползли по оврагам и пашням на брюхе, зарывались в промерзлую или волглую землю, подымались без криков «ура!» из окопов и бежали вперед, начиная орать, выпуская на волю зародившийся в чреве словно раньше всех слов на земле, раздирающий глотку и челюсти крик, что и зверю, наверное, никакому неведом. Он конечно же чувствовал, что добавляет свои эволюции к совокупному ожесточению бегущих и стреляющих рот, но при всей этой ясности, близости, родности ощущал и отдельность свою от пехоты, ту отдельность, которая предрешена разделенностью и несхожестью сред обитания: он, Зворыгин, все делает в воздухе, упиваясь, питаясь боевой красотой, и сомнительно крайне, чтобы кто-то из наших рядовых на земле наслаждался повальным огнем и окопной страдой, да еще и просил у судьбы продолжения.

Все казалось ему, что пехоту убивает и милует только случайность. Уцелеть – вот что было для пехоты случайностью. Что решает тут *сам* человек? Ну конечно, водители «тридцатьчетверок» наловчились уж так танцевать на железных своих мастодонтах, что чудовищным «тиграм» не просто расклепать их прямым попаданием, и башнеры – держать свои

люки открытыми и выметываться из машины за секунду до взрыва. Ну конечно, обстрелянные пехотинцы научились не слушаться посвиста пуль и разрывов – слышать только себя самого – вещий голос внутри, безотчетный озноб, что вернее всего обожжет, бросит наземь, швырнет за ничтожную кочку; намастырились перебегать под огнем, зная, где им упасть, где вскочить, подорваться всей жильной силой и опять повалиться и вжаться в берегущую землю, хоронясь от обутого цейсовской оптикой глаза. Только что это все по сравнению с повальной смертью и тем самым, сужденным тебе, не могущим вонзиться в пустое пространство осколком, по сравнению с безличной волей, решившей, что не встать тебе с этой земли? А летун все решал только собственной силой. Есть, конечно, коварство случайностей вроде засвеченной солнцем сетчатки, «эрликона», который безошибочно выбрал тебя, или даже смешного молотка, позабытого техником у тебя в фюзеляже, но суть... Когда он захлестнул за хвостом у Тюльпана косую петлю и, сорвавшись за ним в ястребиный угон, проломил ему лапой голову, показалось, что может всегда, целиком убить смерть – что теперь уж на все в каждом воздухе будет воля его.

Вот уж аэродром – похватав вещмешки, соскочили с полуторки и пошли мимо острых носов отдыхающих «Яков», невеличек в сравнении с огромными «дугласами»...

– Значит, вот что, орлы, – объявил им помначальника аэродрома, разрывавшийся натрое меж зуммерившими на столе телефонами. – Посадить на московский почтовый могу через сутки, да и то без гарантии. По прогнозу гроза собирается.

– Это как без гарантии? Ты смотри предписание! Сам главком авиации лично затребовал нас. Быть в Москве не позднее двадцатого! – налетел на него Лapidус.

– Да куда я тебе посажу, милый мой?! С фронтовой спецпочтой?! У меня командармы, все – в Ставку! – Не осмелился даже взглянуть, показать им глазами на кремлевское небо. – А ты мне тут про штаб ВВС. Понимаю, ребята, но физически вам не способен помочь. Ждите сутки. И вот что: есть еще вариант – по железке.

– Да ты что, издеваешься?!

– Да помочь вам хочу. В четырех километрах, за лесом вон, станция. Поезда – как часы, уверяю. Вы как будто забыли, что можно не только летать. Если сядешь на литерный, те же сутки – и все, ты в Москве. С вашим-то предписанием.

– Мы тебе вон его показали, свое предписание, – буркнул Зворыгин, но, поглядев на Лapidуса с Ахмет-ханом, нажимавших глазами: «пошли», повернулся на выход, к железке.

– Ишь ты, хочет помочь, – головой мотнул за спину на ходу Ахмет-хан. – А сам глаза отводит – прямо как окосел от вранья. Сильно нервный какой-то. Я как чувствовал – верите, нет? Что-то будет не так.

– Да чего же не так-то? – потянулся до хруста в костях Лapidус. – Так еще даже лучше, чем в глухом-то корыте, как Иона во чреве кита. На родные поля поглядим, на народ. Красота-то какая вокруг. Надо было вот только прибористов тряхнуть, чтоб сседили нам граммов пятьсот на протирку всех внутренностей.

– Эх, на «кобродках» наших и махнуть до Москвы бы, только баки подвесить, – помечтал Ахмет-хан.

– Нет, кунак, «кобры» наши не тронь. На них люди хорошие вместо нас воевать остаются.

– Ну а если не сядем на литерный?

– Может, так и врубить – за Героями едем? Неудобно вот как-то, не интеллигентно – кулаком себя в грудь. Все старались, а мы отличились...

Широкая грудь каждого из них была страшна, а грудь Зворыгина – воистину ужасна, золотая и рудая от орденов, как бы блекнувших под Золотую Звезду и орденом Ленина. Уж не грудь, а какой-то проходческий щит. Ахмет-хан с Лapidусом в Кубанском побоище перевыполнили чуть не вдвое «геройскую норму». Воевали и знали: никаких воздаяний не надо,

воздаяние – немцам от них, но теперь призвала их, признала своими абсолютная сила, окончательная справедливость всех советских людей. И Зворыгин – хотя это с ним уже было, раз уже выросстал и стальнел, выходя из рядов и выслушивая: «Участвуя в ожесточенных воздушных боях, проявил себя отличным летчиком-истребителем, у которого отвага сочетается с большим мастерством... Достоин присвоения звания „Герой Советского Союза“», – ощутил то же самое строгое торжество и звенящую стужу.

Вспоминали проказы свои, за которые только гауптвахтой отделались. Про ликер «Гли-зантин» – еженощными штурмами изводил Лапидус прибористов: поделитесь, ребята, сами знаете чем, спирт же надо расходовать так, чтобы не было после мучительно больно за бесцельно пролитую жидкость. Те ему: а иди ты. И Ленька пошел – побежал по пахучему следу на склад ГСМ: это чем у вас так вкусно пахнет? Притащили с Гречихиным в эскадрилью канистру гидравлической жидкости для заливки в железные ноги шасси. Сепаратор был сделан из противогазной коробки: ядовитую смесь перегнали три раза, до детской слезы, но и эта живая вода нестерпимо разила духом сильных веществ, с человеческим нутром несовместных. Лапидус ломанул в автолавку, закупил в ней полсотни бутылок вишневого, на сахарине, сиропа, и свершил на глазах у братвы вожделенное таинство.

Вспоминали Тюльпана – как Зворыгин убил. И как раз после этого – смерти одного, но какого убийцы – на Кубани как будто поменялся сам воздух; рассыпаться от их истребительной музыки стали самолетные стаи тевтонов, поскорей давать ходу из зачумленного воздушного пространства, перенасыщенного русской силой. Весть о смерти хозяина неба пронизала единый радиальный эфир, говоря истребителю каждому: мы теперь стали выше, не везде, не всегда, но уже стали брать превышение над ними. Все собратья и раньше смотрели на Григория как-то особо, а теперь – словно что-то от Борха к нему перешло, словно он у него что-то выклевал, подобно тому как дикари Океании поедали глаза, мозг и сердце своих самых сильных врагов.

Поредел уж подлесок – стало слышно певучие скрипы поездных механизмов на станции, те железные звуки, которые беспреградно разносятся в пристанционном особенном воздухе, обещающем невероятную встречу, которая тотчас, без жалости, обернется разлукой. И Зворыгин подумал о Нике – может быть, и за нею он едет в Москву.

На путях – эшелоны, платформы, вереницы телячьих вагонов, паровозное пыханье, лошадиное ржание, переливы трехрядных гармошек.

– Круг дайте, круг! – Закопченные, потные артиллеристы – молодой, круглолицый, лопоухий сержантик и кряжистый пожилой старшина – заходили вприсядку, состязаясь в неистовстве неуловимых коленец.

Из открытых теплушек разило лошадиным ядреным навозом и потом. Терлись плечи, погоны, мешки; солдаты всех родов теснились меж вагонов, гомонили, толкались и бегали за водою и кашей с канистрами, котелками и чайниками. Составы, составы, составы... По железным дорогам, по всем своим жилам толкала Россия на запад мужицкую кровь... Эй, браток, где же литерный тут, на Москву? Показали на здание вокзала. Испещренный щербинами и залатанный наспех фанерой вокзальчик беспрерывно глотал и процеживал жизнь. Забежали в него, продавились на воздух, а там, на перроне – загородка дощатая с узким проходом, комендантский патруль, и к нему уже очередь сороконожкой ползет.

– Та-а-акс, товарищи офицеры, попрошу предъявить документы, – козырнул им старлей с истомленным, но сытым лицом. Неприязненно как-то царапнул глазами по высоким наградам Григория и с такою почтительной осторожностью взял двумя пальцами синеватую книжицу, словно остерегался обжечься. С показным напряженным вниманием вчитывался, пошевеливая спелыми губками, отрывая от строчек глаза и с глумливою кротостью взглядывая на Зворыгина. Никуда не спешил, откровенно мытаря всю троицу. – Та-а-ак. А чего

ж, это самое, тут-то, на станции, делаете? Вы ж крылатые люди. Вы должны сейчас плыть в стратосфере. Непонятно, товарищи. А какие еще документы имеются?

– Предписание об обучении грамоте.

– Юмор? Это мы ценим. С неба, с неба свалились на станцию. Да я все понимаю: бывает. Только надо сперва прояснить. – Упивался, вахтерская морда, своею этапнозаградительной властью, удовольствие было ему завладеть и заведовать временем жизни людей, что всем видом своим принижают его до нуля. – А вот знаете что, это самое, попрошу предъявить для осмотра вещевые мешки.

– Э! Ты что это, разумом двинулся? Это с какого?! – полыхнул Ахмет-хан.

– А с такого! Большого! – сорвался старлей, напоказ свирепея и праведногневно выедавая Султана глазами. – Это ты тут какого на станции делаешь, ты?! Может, ты – офицер Красной армии, орденосец, а может, фланируешь тут, парашют прикопал вон в ближайшем лесочке! Ты глазами меня не стриги – задымишься сейчас с перегреву! Выполняй, тебе сказано, требование! А не то я сейчас как имеющий право... – цапанул кобуру на боку... и, обмякнув лицом перед глыбой, продолжил с усталою мукой: – Вы ж советские люди, должны понимать. Я ж прошу по-хорошему... – и взглянул на Зворыгина с нетаимой издевкой.

– Это где же такое написано, чтобы порчъ тыловая боевых офицеров досматривала? – Нет, не сам он, Зворыгин, разыграл – из толпы за спиной кто-то выступил и отчеканил, ровно как со зворыгинских слов и зворыгинским голосом. – Как-то это негигиенично.

– Это кто там такое?! – Старлей, по-гусиному вытянув шею, убивающе впился глазами в толпу. – Надо будет – вы мне тут...

– А мы не желаем! Может, вы еще нас до порток тут разденете – на предмет ухищренно сокрытых мужских причиндалов? На каком основании, старлей? Покажите мандат. – Капитан в летной форме как встал за плечом у Зворыгина, так и врос истуканом в асфальт и смотрел на проверщика с давящей силой, не трудясь пострашней нажимать на того голубыми, почти бирюзового цвета глазами.

Тут уж весь офицерский народ всколыхнулся, загалдел, выпуская скопившийся гнев, – надломившись в лице, лейтенант от такого напора отпрянул, прижимаясь к своим автоматчикам, и орал перекошенным ртом, призывая к порядку ораву и уже понимая, что криком он ее не погасит.

Напустившиеся на него офицеры стали вдруг расступаться – протолкнулся к посту тонколицый, поджарый безулыбчивый старший в габардиновом сером плаще и с «пустой» головой: мера власти угадывалась по глазам, по тому, как идет человек, а потом уже по осевшей чернявую голову, ниоткуда возникшей малиново-синей фуражке.

– Документы товарищей. – Человек безопасности столь привычным движением взбросил не терпевшую и не прощавшую промедления руку, что огрызок из комендатуры, надломившись в лице, чуть не выронил продовольственные аттестаты и расчетные книжки. – Попрошу вас, товарищи летчики, следом за мной.

Неприступно-холодный чекист заключил их в единое целое – точно дратвой пришил к изначальной их троице замечательно-непроницаемого капитана и еще одного бугая, молчуна-лейтенанта с татарскою мордой. И пошли впятером вслед за серой габардиновой этой спиной.

– Извините, товарищ, не знаю, как к вам обратиться по званию... – не стерпел Лapidус.

– Леонид. – Человек резко встал, оказавшись Лapidусовым тезкой. – Вот перрон, вот вагон. Залезайте себе и катитесь. Я, ребята, как летчиков вижу, сразу делаю стойку. В свою бытность безусым щенком тоже было на небо замахивался. Не сбылась голубая мечта. А влечение осталось. И зависть. Может быть, и у этого лопуха тылового, рожденного ползать, тоже зависть, как думаете? Я так понял – в Москву? – Протянув документы Зворыгину, по

старшинству, так и не разделил пятерых на две партии. – Кто же в вашем полку воевать остается?

– Да из разных мы, разных полков, – отвечал Лапидус. – Даже не из соседних дивизий, быть может. Вы вообще кто такие, ребята? Шпионы?

– А вы? Парашюты в ближайшем лесочке? – сказал ему в тон капитан.

– Мы свои парашюты в Баку за тушенку барыгам загнали. Ну, кто? Предъявите свои документы.

– Капитан Волковой, лейтенант Бекбулатов. Двадцать третий гвардейский истребительный, слышали? Эскадрилья «Монгольский арат». А такой – на монгольские тугрики эскадрилья построена. Ну а вы-то кто, вы?.. Да иди ты! Это имени, что ли, Зворыгина?

– Вот он, Гришка Зворыгин! Во плоти пред тобою – потрогай!

Друг на дружку набросились – про «спасителя» странноречивого своего и забыли. Обратились к нему, неудобство почуяв:

– Ну спасибо, товарищ... Леонид, за такое.

Тот какое-то дление их поразглядывал и достал из великих своих полномочий неожиданный новый подарок:

– Посажу-ка я вас, диверсантов, на литерный. А не то прямо здесь и состаритесь.

По хотению Емели, с быстротою волшебною начало исполняться дальнейшее все – и уже через десять минут уминались в купе, и уже выставлялось на стол все, чем были богаты, и уже появились бутылка армянского марочного коньяка с засургученным горлышком и набор шоколадных конфет из портфеля капитана особого ведомства, и уже содрогнулся в железных своих сочленениях поезд, и уже разбежалось по жилам золотое коньячное пламя, и пошли языками чесать вперебой.

– Я, если хочешь знать, без воздуха хуюю. Все земные роды просто молятся, чтобы нахмарило, ну а мы – как без ясного неба?

– ...Нет уж, только не бомберы, я тебя умоляю! Уж чего не люблю, так в конвое ходить. Дело важное, но... никакой вот свободы для творчества. Появились «худые» – отогнал их чуток и обратно к большим. Так и ходишь на этой цепи: гав-гав-гав. Я охоту люблю! Ты над морем один не охотился? Помню, как первый раз дорвались, я жилет на себя надувной, ну а Гришка мне: брось его на хрен, лучше сразу на дно, как топор, чем в холодной воде теплаться. И вообще – такое, мол, как ты, оно не тонет.

– ...На фоне леса их не видно. Глаза разули – вот они, под нами. Идут в три яруса, лаптежники гадючие. Я прямо с солнца на него свалился, зашел в три четверти, он мой, и ничего вокруг уже не вижу...

– Увлекаешься!

– ...сам не сгорел – штаны на мне сгорели. Иду в хозчасть: так, мол, и так... А зампохоз: не вышел срок износа. Не положено вам, лейтенант, новых ватных штанов от зимы до зимы, походите пока в шароварах суконных. Сам – ряха во! Горит за родину! Ну я так без штанов на КП и пошел. У отцов-командиров шары на затылок: это что на вас, что?! А это, говорю, на мне кальсоны теплые.

– Его сразу, паскуду, узнаешь по полету.

– Да ссыкуны они, свободные охотники. Он никогда с тобой в маневренный не вяжется, – рубанул захмелевший Алим.

Резануло Зворыгина: странно было ему услыхать от собрата подобную пошлость – то, что все пионеры давно уже знают, которые металлический лом собирают и сдают на завод в переплавку, вносят лепту в создание именных самолетов.

– Это ты сказанул, – посмотрел на Алима едва не с презрением. – А вот то, чего девки во всех деревнях уже знают. Под карусель сам «мессер» как машина заточен идеально, я считаю. Я не знаю, каких ты в своей жизни встречал, а вот с нами их «волки» такой хоровод

заводили – разве что голова не откручивалась. Тот, кто силу свою сознает, безо всяких иллюзий причем, обольщения ложного – если он тебя в небе по почерку выделит, сам же первый тебе закрутиться предложит. И вязать будет волей своей, пока ты не взопреешь от крови.

И посмеркся Алим, онемел – придавил, получалось, Зворыгин его своей правдой, принизил: настоящих ты, брат, и не видел, а так, с сосунками барахтался. И ни слова ему поперек, за Григорием сразу признав правоту там, где каждый второй да и первый летун сразу кинется опровергать: «Это я-то не видел?! Да я!..» Значит, тоже себе цену знает: «говори, говори – как до дела дойдет, ты меня по полету узнаешь». И опять – вперебой: кто о бабах, кто о самолетах.

– Я с хорошею девушкой нынче бы даже в клуб постеснялся зайти. Раньше ей про сирень, про Есенина, про полеты на Северный полюс... Ага, и челюскинцев лично со льдины снимал, невзирая на то что учился тогда в пятом классе. А сейчас вот совсем одремучился.

– Это ты, брат, напрасно. Что стесняться теперь, когда сами они не стесняются? Когда ты – их последняя, может, надежда на минутное счастье?

– На такой высоте мне на «кобре» вообще делать нечего. Ниже тысячи метров – уютно уютно.

– А вот честно, Григорий, – сколько ты фрицев в землю загнал?

– Да под сто, я тебя уверяю! Это он просто скромничает. Да и как подтвердить? Упадет фриц один – так на эту убитую тушу все сразу права заявляют. Это мы его сбили – зенитчики. А пехота: нет, мы. И выходит по их донесениям, что уже не один сбитый «мессер», а три. Вот и надо проверить семь раз, а потом уж поверить. Сам как будто не знаешь. А когда ты над морем его закоптишь? Или просто за линией фронта? Как его доказать? Взять того же Тюльпана. Со дна не достанешь. Вот мы двое и видели лично, как Гришка его. Ну, Поярков еще. Жалко, вас с нами не было! Да родиться на свет надо было только ради того, чтобы это увидеть!

– Ты меня, Леонид, извини, но вот только... – не губами, не ртом, а каким-то другим, дополнительным органом речи сказал капитан Волковой и какое-то время не мог говорить, но себя пересилил и в Леньку – в несомненную силу Зворыгина, как в червячную слизь сапоговой подковой, – вдавил: – Видел я только этого Борха. Не так чтоб давно.

Вмуровало обвалом породы в немоту всех троих, задохнулся Зворыгин в крошечной пустой черноте, разом хлынувшей в голову.

– Ты-и-и что это, а? Ты-и-и что это мелешь такое? – Лapidус еле выпихнул кляп из гортани и осипло кричал, задыхаясь неверием, высоко перешагивая бешенство и какую-то детскую жалобу. – Фук он, фук! Как тебя сейчас, видел! Я лично! Султан! Ну скажи ему ты! Со своим красным носом один он такой!

– Я тебе просто мамой клянусь! – перекинулось на Ахмет-хана от Леньки. – И никто его больше с тех пор на Кубани не видел! Или что, скажешь – не человек?! Дух, шайтан?! Это мы проходили уже! В это больше не верим! Если б он был живой, то давно бы уже появился! Там бы, там, на Кубани, воскрес! Показал бы себя: вот он я!

– Ну так он и воскрес, показал. Только там, где вас не было. Нам показал, – с неживой, мерзлой силой сказал Волковой.

– Это где же вы с ним повстречались, скажи! – наскочил на него Лapidус. – Что ты видел такое, кого?!

– «Мессершмитт» видел с красным цветком. – Волковой немигающе выдержал Ленькин вскрывающий взгляд. – Я не знаю, кто там в нем сидел, Борх – не Борх, человек, дьявол, дух... Может, это другая какая фашистская тварь так нарядилась, чтобы нас напугать, или, может быть, в память о дружбе своем гадском... Может, чтобы тебе знак подать, – посмотрел на Зворыгина безо всякой издевки, – только тот, кто нам встретился, это... Я ничего не мог с

ним сделать, ничего. – И, упершись глазами в зияющую пустоту, как будто силясь вытащить кого-то из своих оттуда и не нашарив ничего, договорил: – Он троих... наших... сжег.

Зворыгинская мысль поворачивалась, как исподний жернов.

– Расскажи, – попросил он Волкового угрюмо и просто. – Наших тоже он... много. Расскажи, как он вел карусель. И тогда я скажу тебе, он это был или нет. Я же трижды с ним близко общался, я его изучил лучше, чем свою бабу иной за полвека супружеской жизни.

– Говорю же: не видел такого ни разу. Акробат на батуте, а не самолет. Ты поверь, кое-что я умею, но с ним... Хорошо вот Алим – это он его из-под хвоста у меня выметал, а иначе бы я с тобой не разговаривал. – И умолк, навалившись всем весом на локти, как будто под нажимом чугунной плиты, в одиночку под нею устраиваясь жить и стыдясь, что живой; но Зворыгину было одного покаяния мало.

Без обмана в тот день он *кого-то* убил – человека, сидевшего в «мессере» с красным, полыхающим носом-тюльпаном, – и ничто в нем, Зворыгине, не трепыхнулось креститься, просто в мозг его снова ударил тот светлый, холодный, снисходительно-царственный взгляд. Точно солнечный ветер Зворыгина вырвал из него самого, и, подняв над землею, швырнул в голубую Цемесскую бухту, в тот далекий теперь уже день, когда он ощутил себя силой, способной сбросить с неба любого. Вызвав в памяти все эволюции той карусели, он как будто бы сам себя выхолостил, с неумолимой ясностью увидел, что не мог он, Зворыгин, так дешево, на убогой петле и догоне настоящего Борха убить. Да для этого Борх должен был на огромное время ослепнуть и оцепенеть. Да для этого все, все врожденное надо в *нем* заменить. «Мессершмитт» был *его*, с красным носом, но сам человек...

Объяснение, пришедшее сразу, проломило своей простотой: было так – с первым взревом пожарной тревоги побежали *они* по машинам, и кто-то другой безраздумно запрыгнул в чужой «именной» самолет – точно так же, как сам он, Зворыгин, с полотенцем на шее и мыльной пеной на морде, полуголый срывался и прыгал в любой подвернувшийся «Як» – отогнать от своих самолетов и кухонь ревучую стаю «лаптежников». И давил его стыд, что поверил ничтоже сумняшеся в близорукость и даже убожество Борха и до этой минуты любовался собою, дерьмо!

Ровно как из пробоины, из него захлестало и обрушилось на Волкового: а вот это ты видел? а это он тебе показал? а вот так из-под трассы твоей уходил?

И Володька, как будто проседая от этих вопросов, кивал, разжимая сведенные челюсти и выпуская из себя односложные «да», то, чего не хотел вспоминать и не может забыть... и сказал, между прочим, такое:

– Ну я дырку увидел вверху – и на солнце кабрированием. Только так от него оторвался.

И как раз в это самое дление вагон сотрясло, и, похоже, один лишь Зворыгин оглох не от этих железных ударов, а раньше – слова-валуны «только так от него оторвался», «кабрированием», покатавшись в башке, оглушили его, потому что могли означать лишь одно, то, чего быть не может: Волковой никогда не держался за ручку деревянного «ЛаГГа». Ну не мог командир эскадрильи «Монгольский арат», прокаленный в горниле летун, позабыть о своей же телесности, основных свойствах плоти, которой оброс, об ущербности в скороподъемности, в счет которой Тюльпан на глазах у Зворыгина Петьку убил... Уходить так нельзя, невозможно уйти... это как... все равно что взять скрипку на манер балалайки.

Кровь ударила молотом в голову, но Зворыгин не дрогнул и ждал, что сейчас Волковой шевельнется и руками покажет, как ушел от Тюльпана на горке восходящей неправильной бочкой, или просто признается, что не он от Тюльпана ушел, а Тюльпан его сам отпустил, отвлеченный другою добычей или просто с усталым презрением, и тогда этот морок развеется. Но Володька молчал. Он не видел вопроса в зворыгинских разоренных глазах – столь понятный и близкий по закваске ему капитан с неприступным кремневым лицом и прямым, сильным взглядом почти бирюзовых, ничего не боящихся и не скрывающих глаз, – и это

было еще более невероятным и необъяснимым, чем само воскресение Борха. Почему же никто не орет «не бывает»? Неужели не слышал никто?

– Ну, давайте за то, чтобы кто-то из вас доканал эту гадину, – мрачно слушавший их капитан безопасности поднял манерку с остатками спирта, и Зворыгин услышал его точно из-под воды – ощущение недостоверности происходящего затопило его, а все пятеро уж затянули – не в лад, но одною душой:

– Машина в штопоре кружи-и-ится, ревет, летит земле на грудь – не плачь, родная, успокойся, меня навеки позабуди!..

Волковой тоже пел, разумеется, зная слова, – как бы внутрь себя, что, конечно, вязалось с его неизменной сдержанностью и спокойным достоинством... Да ведь бредит он, бредит, Зворыгин! Мог же, мог же рвануть в высоту так отчаянно-глупо любой человек, докаленный Тюльпаном до чистого «жить!», если там он увидел возможность спасения, последнюю. Мог его отпустить сам Тюльпан! Ну так что ж он молчит-то тогда, Волковой, сам с собою в разлад не вступая и нужды в пояснениях не чуя? Да от боли молчит, от позора бессилия, оттого, что корежит в нутрах, как его самого вот, Григория, прежде корежило!

Все в нем было, Володьке, до невыносимости русское... в них! Оба, оба с Алимом возникли на станции, и татарские скулы Алима их с Володькою делали еще более русскими. Говорили и пели они на родном языке:

– И вынут нас из-под машины-ы, поднявши на руки каркас, взовьются в небо ястребо-очки, в последний путь проводят нас!..

Гимнастерки суконные, побелевшие уж, бриджи синие диагоналевые, по-пижонски, по-нашему, ордена на местах и нашивка за ранение тоже, даже пахло от них тем же самым прожаренным в вошебойке сукном и хэбэ, тем же одеколоном, полукрупкой моршанской, а сильнее всего – совершенным отсутствием страха и радостной вольностью наконец-то дорвавшихся до полноты тыловой соблазнительной жизни людей. Ну должно же ведь было проявиться в них что-то такое, проступить вместе с каплями пота, запахнуть, не могли не почуять они – если б только всамделишно внюхивались! – что Зворыгин напрягся. Ни единого вздрога, шевелений невольных, спохваток, заговорщицких выблисков взгляда: «молчи!», «что несешь-то такое?!» – и уже сам себе он, Григорий, не верил, а еще через миг эта самая их безупречность во всем – от сапожных подошв до остриженных нашей машинкой затылков – еще больше смущала его.

За окном леденела, летела непроглядная тьма, три часа – и Москва. И коньяк, и прихваченный Ленью спиртом были выпиты, и сейчас кто-нибудь: «Я кемарить». Лapidус с Ахметханом размякли в беззаботном покое. Ну а что ж капитан безопасности, Леонид-избавитель? Вот уж нюх у кого должен быть на чужого.

Поглядел на того – тонкий профиль сына интеллигентных родителей, размягченное спиртом лицо, только глаз все такой же холодный и ясный – ледяное окошко в февральскую ночь... И проггло: так ведь он, Леонид, их на станции и познакомил, он-то и посадил их на литерный вместе и сам с ними сел, обвалившись нечаянным счастьем, – тут любовь с интересом, с непонятым Зворыгину смыслом. И Володька-то буром попер на того лейтенанта из комендатуры, может быть, для того, чтоб самим от проверки уйти, чтоб свои вещмешки не развязывать, – вот на слитное их громогласие, на пилотскую наглость расчет. Ну а дальше? Для чего побратались? Только давку в купе создают, трое лишних. Или тот же расчет – что никто к пятерым летунам не прицепится: больше шума, развязного гомона и привычно-естественной властности – так вот и доберутся до самой Москвы?

– Что же вы, истребители, затосковали? – оглядел их с насмешливою укоризной капитан безопасности. – Из-за этого аса воскресшего, да? – И, поджав скорбно губы, покатав на щеках желваки. – Да какой бы он ни был, ваш Борх, он же ведь все равно обречен. И вообще, ребята, ведь не Борхи все решают на этой войне, и не их генералы хваленые, и не ты, извини

уж, Зворыгин, а рядовой пехотный Ваня. Ничего, отдохнете сейчас, погуляете, а вернетесь – затравите этого зверя. Вы в Москву-то надолго? И зачем вообще? За какие заслуги?

– Вот так мы познакомились! – цокнул языком Ахмет-хан. – А куда вы в Москву, для чего, не спросили!

– Информация строго секретная, друг. – Волковой чуть осклабился. – Но тебе уж скажу, да и сам догадайся. Назначение новое. Слух такой, что инструкторами. Только мы не пойдем, мы обратно сбежим.

– Значит, мы продолжаем?! – просиял Ахмет-хан, и Зворыгин увидел с окончательной ясностью все: отражение Султана в Алимe и свое – в Волковом.

Вот оно, объяснение братской любви! В их попарной похожести. Ведь недаром он с первой минуты почуял с Володькой сродство: Волковой превосходно его замещал, приживаясь, садясь как влитой, совпадая по возрасту с ним, по фигуре, даже лепке лица, цвету глаз, совпадая не с подлинным даже Зворыгиным, а с его фотографией в «Правде»: вот таким он, Зворыгин, и был в представлении тех, кто не видел его во плоти. И с такою же точностью кем-то всезнающим подбирался Алим – под Султанову нацию, облик и стать: оба были в плечах – средний воин неуступно поперек мог улечься, оба были один черт черкесы – поди разбери. Лapidус с капитаном-чекистом – тонколицые оба, чернявые... все!

Нет, не вместе, а вместо настоящих героев в самый штаб ВВС наострились... И конечно, Григорий не мог уместить распухающей в черепе фантазмагории, объяснить сам себе, как же эта волшебная тройка могла подстеречь их на станции с точностью чуть ли не до секунды, как могла вообще отыскать их в тыловой толчее и несмети... бред! бред! Только уж все равно к холодку в животе безотчетно добавилось предвкушение удара по темени или финским ножом под ребро. Нет, не здесь, не сейчас. А не то бы давно уже, безо всех этих нежностей – отсырелою спичкой бы даже не мигнуло в башке понимание. Не забить нас без шума. За собою потом не прибрать. Документы им наши опять же нужны – незапятнанные. Значит, где-то потом. Где? В Москве? В самой гуще народа? А где? Как бы ни было, едем. Пока едем, живем. Или бред?! Может, вылезем – и распрощаемся?.. Как бы знак дать своим ребятишкам – баранами едут. Какой? Что ж, в глаза Лapidусу с непонятным страданием глухонемого упорно смотреть? Это в воздухе, в воздухе понимали друг друга, как пчелы в ройке. На железное знание матчасти Волковому с Алимом вопрос? Просадить до гнилья, чтобы Ленка с Султаном почуяли: это чужие. А монголы поймут, что ты их проверяешь вот этим вопросом? А Султан с Лapidусом накинутся хором на них: кто вы, кто? И тогда уже точно битье на убой, прямо здесь, а они – волкодавы, всем своим прежним опытом жизни на это заточены. Нас, допустим, так просто за пищака не ухватишь, но теперь-то с костями съедят – размлели Султан с Лapidусом от тепла братских душ...

Леонид-избавитель толкнулся, с естественной вялостью вырастая, прямясь надо всеми, и сказал, что идет по нужде, и Зворыгин еле-еле себя перемог и не вздрогнул. Хоть сидящий впритирку к нему Волковой, может быть, уж давно ощутил в нем напряженность от ушей до копыт. А огромный Алим между тем закемарил напротив в углу, так свободно обмякнув и по-детски открыв пузырящийся рот, что опять – офицер Красной армии, и никто другой больше. Вот сейчас Волкового за горло! Невозможно физически – ровно килька в консервной жестянке, впрытык; понабившись в купе вшестером, совершенно они дружка дружку обездвигивали и обезвреживали.

Предрассветная тьма, с ровным остервенением летевшая за зеркальным окном, с неправдивой, волшебной внезапностью поменялась на мгlistую серость; с безмолвным бешенством неслись затопленные мглой потусторонние пустынные поля, перелески, деревья, столбы... Распахнулась купейная дверь – что-то быстро, – на пороге возник посвежевший капитан безопасности:

– Собираем манатки, ребята. Путешествие наше подходит к концу.

– Что, Москва уже, да? – проясненно-разбуженно вскинулся никогда не бывавший в Москве Ахмет-хан.

– Нет, абрек, рано радуешься. Но сходить нам придется сейчас.

Вот оно! Началось!

– На ходу прыгнуть – как? Вам-то, думаю, не привыкать. – Капитан безопасности, подзадоривая храбрецов, улыбался глазами. – Права я не имел вас сажать вот на этот чудеснейший литерный. Ничего вам, конечно, за это ровным счетом не будет, а вот мне скипидарную клизму поставят. Так что лучше сойти. В темпе, в темпе, прошу вас. Ридикюльчик там мой заодно прихватите.

А вот если врать в лавку намертво: «не пойду, не желаю»?.. Руку держит в кармане, паскуда! Все одно приведет сейчас в повиновение! Все одно тут, в купе, даже лапкой, как заяц, не дернешь. И, как будто услышав команду капитана на высадку, содрогнулся в железных сочленениях литерный, переполнился скрипом тормозов и фанерной обшивки и пошел стариковски натужно, с усиленным кряхтением, и с таким же тоскливым надсадом онемевший Григорий толкнулся на выход, ощущая паскудную стылость в одубелом паху и спине. Сердце то билось рыбиной, то лубенело, заполняя всю грудь... И шагали уже по проходу: капитан – тягачом, а монголы – последними, ловко!

Волковой шел за ним и продавливал в тамбур – влепит жарким свинцом меж лопаток сейчас, только спрыгнешь с подножки; всех похлопают, как куропаток... Волкового стоптать, придавить и орать беспрерывно... Туман! Туман такой, что телеграфного столба в упор не увидеть. И взмолился Зворыгин, чтобы как можно ходче пошел захворавший, издыхающий поезд-старик, чтобы как можно дальше их всех разбросало.

Чекист испарился, пропал Лapidус, а за ним и Султан, как с крыла заглушенной машины, шагнул в непроглядную мглу. Зворыгин встал боком к Володьке, ловя все движения того и радуясь, что не подставил звенящей спины под удар; увидел в тумане фигуру Султана, уплывшую за спину, прыгнул, чуток пробежался по ходу и тотчас когтями скребнул кобуру, чтоб выстрелить в воздух и выкрикнуть то, для чего и слов-то не знал: «Кача! Бей их! Бей немцев, ребята!», как раньше, в Севастополе, курсантами кричали «Наших бьют!», когда дрались в приморских парках с бескозырками, наматывая на руку ремень луженой пряжкой наружу... Ах, мать, заколодило, застрял ремешок в кобуре!

– Братушки! Ау! Десантники! Есть кто живой?! – позвали монголы, фигуры которых виднелись шагах в тридцати от него...

Зворыгин рванулся от них – к Султану, к незримому Леньке... Где Ленька?! Хорошо все же их разбросало. Молот крови забил в нем слабее и медленней, словно в такт затухающему перестуку колес. К Султану скорее – и в ухо: «Чужие, чужие они!»...

– А вот Луговского ты знаешь? – звенел голос Леньки. – Так начинается песня о ветре, о ветре, обутом в солдатские гетры...

Чекист в своем длинном плаще успел и настичь, и обнять Лapidуса, и даже уже подтащить того к Ахмет-хану в упор. Как во сне, утянулся в молочную дымку последний вагон – и Султан поглядел на Григория зверем, как будто что-то в нем до нужного предела разрывая, с таким глухонемым страданием, что Зворыгин с палящей дикой радостью почувал: не один!

– Звенит эта песня, ногам помогая идти по степи по следам Улагая... – Соловьем заливался для вражьих ушей Лapidус.

А монголы уже за спиной:

– Что ж вы встали?..

Мертвея от стужи внизу живота, Григорий зевнул, потянулся истомно, спуская с плеча вещмешок, и, полуобернувшись к Волковому с деревянной улыбкой, лениво, беззаботно, обыкновенным вроде голосом сказал:

– Володь, не дает мне покоя одно. А видел ты его в лицо, живого, как меня? Ну Борхато вашего, Борха!

Чекист в то же мгновение дернул рукой, единым, коротким, томительно долгим движением вытягивая пистолет из кармана, и в это мгновение Султан ударил его своим молотом по голове, свалив будто намертво и заорав короткое самое: «Бей их!»

Не ладом телесным, а знанием, что их повели убивать, они обогнали троих скороходов. Зворыгин увидел блеснувшее синее лезвие взгляда одномоментно со змеиным выбросом руки, дугой ножевого удара – и, дернувшись, руку поймал, склешил пятерню на запястье и выкрутил от своего живота, почуяв по хрусту: ломает... и тут Волковой как кивнул, вбивая Зворыгину в голову гвоздь, и, может быть, мертвый уже, теряя опоры, валясь на лопатки, Григорий его потащил за собой, вошел под чугунным нажимом в зыбучую землю, теряя сознание связи с разбитым, придавленным телом, теряя дыхание, горло, кадык... но вдруг что-то лопнуло, вскрылось в давившем его чугуне...

Вернувшись в какое-то чувство, зашарил в кровавом наплыве по мертво-обмяклому мясу, нащупал какой-то горбатый осколок в горячих кисельных нашлапках... нажав всей оставшейся мочью, спихнул эту тушу с себя, уселся рывком, озираясь, не видя сквозь навалочь в зенках почти ничего. Слегка прояснело – и он увидел отваленный труп Волкового с расколотой вдрызг, половинной, кроваво-сургучной башкой. Левее сидел Лapidус и, перебивая тошноту, прицеливался из нагана в сцепившихся, катавшихся двоих: руками, ногами свились, как белье, Султан и огромный Алим, крутили друг друга жгутом и лушили хрустевшие кости из мяса... Чекист где, чекист?! И тотчас же кто-то – в ответ! – с наскока ударил подслепого Ленку ногой... Рванулся Зворыгин туда – и то, что увидел, не смог уместить: шесть человек красноармейцев бежали зигзагами к ним, с наганами в обеих вскинутых руках. Едва он толкнулся с колен, как тотчас же кто-то не свой не чужой ударил его железкой в макушку, и он ничего уже больше не видел...

Очнулся от боли. Кто-то гнул и ломал его, надавив на хребтину коленом:

– В глаза мне, паскуда! В глаза! Смотри на меня, Корешков, он же Лысыков Петр, он же Дронов Климентий! – Глазастые пятна качались над ним. – Слушай сюда, падаль живая! Ты смерти легкой хочешь?!

От боли и смеха Григорий не мог говорить. Grimаса его была принята за оскал, за вызов «попробуй сломай», и вызов был принят немедленно: на!

– Фамилия! Кличка для радиogramм! Цель! Вашей! Заброски! Твое звание в абвере! Имя! Ты смотри, он у нас волевой! Позывные твоего передатчика!

– «Букет», «Букет», я «Мак»... – Смех начал выплевываться из пасти толчками.

– Какой еще мак?! Чьи это позывные?!

– Я – «Мак», ты – «Букет»! Я русский, едрить тебя в рот, мать твою в ду-у-ушу через семь гробов! Зворыгин я, Зворыгин! Давай меня в штаб ВВС! наших двое со мной, наших двое – живые у вас?!

На живот его перевернули и, взрезав ремни, бережливо, опасливо взбагрили. Сделал шаг по зыбучей земле, устоял и уперся глазами в тяжелую мертвую тушу: Волковому снесло часть красивого черепа; на устоявшей половине, выше уха, ручьистой прозвездью червонела обугленная дырка; в перекошенном мертвом оскале белозубого рта застыла волчиная злоба, но бирюзовые упорные глаза залубенели в недоверчивом, сосредоточенном раздумье; это был уж теперь человек вопрошающий, будто не понимающий, ни за что отдал жизнь, ни была ли она – есть хоть что-нибудь там или нет, и пристывшая злоба его относилась уже не к Зворыгину, а к тому, что и нет ничего...

– Это кто?!

– Это я... только не настоящий... – В красноватом наплыве шатнулся туда, где последний раз видел Султана с Алимом.

Ахмет-хан, как огромный ребенок, сидел на земле, приварившись к коленям ладонями и уставившись внутрь себя, оглушенный и целый, только сбоку разбитой во многих местах головы кровавым лоскутом свисало надорванное ухо, одновременно жуткое и нестрашное, как отщепленный кусочек коры или висящая на кожице надломанная ветка. А заваленный им великан, не осталось в котором, казалось, ни одной целой косточки, почему-то лежал голой задницей кверху, словно кто-то его, уже мертвого, собирался за что-то пороть, от ремня до колена разрезав на нем пропыленные синие бриджи с трусами, и над этим покойническим срамом стоял офицер с полевыми погонами старшего лейтенанта пехоты и глазами полковника НКВД.

Подогнулись ослабшие ноги, и, упав на колени, Григорий пополз к Ахмет-хану, потянувшись к нему и, вцепившись, затряс:

– Золотой мой... Султан... лейтенант Байсангуров... Как же ты их раскрыл?..

– Уши, уши, – промычал Ахмет-хан.

– Ухо? Ухо пришьют. Голова вот цела, голова!

– У него, у него, – тот повел приварившейся головой на убитого им, – оба уха расплюснутые. От захватов такое. Он боролся всю жизнь. Как и я.

– Ну и что, что боролся? И все?

Ахмет-хан захватил его руку и, отжав указательный палец, осклабился:

– А мозоль? От курка! Ранка тут от отдачи. Где же он так старался? Он же ведь не в окопах, а в небе.

– Ты!.. ты!.. Надо было глазами, а я... А ведь я же не верил, до последнего, слышишь, не верил, что они – не они. Ну котел у тебя...

– А ты думал, чего, у Султана ума – как волос на яйце? Ленька, Ленька где, Ле-о-онька?..

– Что ж вы наделали такое, капитан? – застыл над Григорием старший чекист, и Зворыгин уже безо всякого изумления признал в нем того лейтенанта со станции – этапнозаградительную гнусь, глумливого дозначика с кудрявым русым чубчиком и спеленькими губками. – Положили их намертво. Лучше б наоборот. – И глаза его не засмеялись, когда он засмеялся.

– А чекист? Капитан?

– Этот теплый. Вы вообще кто такие? Вы ж по всем показаниям должны быть три раза холодные. Ну давай: как вступили в контакт с этой троицей, где?

– Сами, сами свалились на нас. У тебя ж на глазах зацепили на станции! Я так думаю, все они знали про нас. Документики наши себе, и они – это мы. Ведь похожих на нас подбирали. Как влитые садятся, смотрят.

– Ты смотри-ка, не только маневр и огонь. – Человек безопасности посмотрел на Зворыгина так, словно только теперь и открыл в форме жизни «сокол сталинский обыкновенный» способность к мышлению. – Значит, так, капитан, вы пока под арестом. Мы сейчас вас в больничку, а там еще долго устанавливать будем. А впрочем, коли ты настоящий Зворыгин, установишься быстро – гремишь.

– Я тебя попрошу, то есть вас... – окликнул Григорий его. – Вы того капитана про Борха спросите, про Борха, – вот что всплыло из мутной растревоженной глыбы, словно это одно у него и болело.

– Это кто еще?

– Борх! Ну Тюльпан. Ас их, ас самый сильный. Стольких наших пожег – и живой.

– И при чем тут?

– А при том, что я вроде как сбил его, сбил. А они мне: воскрес. Понимаете вы? Он не просто же так – он господствует. И опять я никто. А я должен быть – кто.

3

Мы выходим на поиск этих «красных чертей». К привычному самолюбованию наших пилотов начинает примешиваться не гадливое недоумение перед бешенством крыс, а закипающее раздражение баловней природы, заметивших, что кто-то из иванов проникает в соседнее по классу измерение идей и скоростей, с натугою всплывая на занятые нами этажи, на которых, как было известно науке, они обитать не способны, точно рыба, которая своевольно покинула отведенный ей слой глубины и пошла много глубже, туда, где высоким давлением разорвет ей кишки.

Под крылом серой лентой извивается Терек – неукротимая, бурливая и мутная река, вблизи почти коричневая от приречного песка и донной грязи. На север от нее, за узенькой полоскою садов и пахотных земель, беднеет сожженная солнцем Ногайская степь, переходящая в степь Астраханскую, Калмыцкую... Чем дальше вглядываешься в эту беспредельность, тем все труднее отделить голубовато-алюминиевое небо от безжизненной, голой земли, не земли – океана, неустанно катящего под крыло истребителя волны пологих холмов, голубых ковылей и седой вековечной полыни. Мне понятно, как это пространство воздействует на сознание наших солдат: сколько б ты ни прошел, все одно будешь лопать свой суп в той же точке.

А по правую руку вытаивают из прозрачного неба Кавказские горы, я хочу потащить оба шварма туда – к сине-белым громадам с нерушимой причудливой линией их ледниковых вершин и далекого неба. Человека здесь нет, предусмотрено не было вовсе. Литосферные волны вздымаются, громоздятся, сшибаются, борются у меня на пристывших глазах – не могу, не хочу искать в этом спокойном, торжественном небе суетливую, жалкую мелочь, почему-то меня ненавидящую. Как бы ты высоко ни забрался, высота его неизмерима. Что-то космически смешное чувствуется в наших остервенелых хороводах с русскими над неприступным каменным молчанием этих гор, в том, что мы выжимаем из себя наши скорости над такой неподвижностью.

В этом августе каждый немецкий солдат почувствовал себя стоящим на Эльбрусе, становясь тем железным, победительным воином Рейха, который нарисован на наших плакатах. В Барвенковском котле на Донбассе сварилось еще триста тысяч солдат Красной армии. Панцерваффе фон Клейста доползли до больших нефтяных площадей близ Майкопа, и каспийская нефть будто уж потекла нам навстречу – первородная живоначалная темная сила сомкнулась с голодными мощностями немецких машин. Никто не вспоминал замерзших зимою 41-го. Забронзовелые ребята в серых кителях с закатанными рукавами фотографировались на фоне Парфенона. Лисьемордый и сухонький Диттль привел своих отменно закаленных егерей в те снежные широты, до которых не добирался ни один завоеватель. Солдат на солнце, Лис пустыни, Роммель наконец-то взял штурмом железобетонный Тобрук, и бронетанковая «Африка» его рвалась к Александрии.

А у нас, изначальных воздушных хозяев, впервые наметилось что-то похожее на потери один к одному. Слухи о «красных псах», наводнившие наш радиыйный эфир, стали материальной, обжигающей силой: эскадрилья ли, группа ли вызывающе ярко раскрашенных «Яков» наконец объявилась и в наших угодьях.

Я лежал в своей чудной резиновой ванне, когда ко мне ввалился обмороженный совершившимся Курц. «Троих!» и «Шумахер!» – вот что пулей застряло посреди его черепа.

Этот красный ублюдок сжег нашего Папочку, commodора эскадры майора Шумахера. Под Моздоком штабное звено повстречалось с шестеркою крашенных суриком русских, и вот этот 13-й номер вел себя столь нахально, что наш commodор захотел наказать его сам. Он решил загнать русского в горку и спикировал в хвост этой твари со скальпельной точностью,

в сто семнадцатый раз исполняя в холодном спокойствии то, что давно отточил и показывал всюду от Мадрида до Грозного. Он не смотрел на русского – смотрел в его решенное и как будто уже наступившее будущее, в ту намагниченную точку, где иван не мог не появиться, до конца оставаясь под брюхом матерого зверя. Старый лис не купился – сосчитал и сцепил в голове буревое секундное «все»: расстояния, градусы, скорости, силы моторов... Даже если бы русский исполнил редчайшее, мало кому из живущих посильное – выломал кумачовый свой «Як» из пике в совершенно отвесную гору, вынимая себя из огня, пропуская майора вперед, то Шумахер все равно бы достиг безопасного этажа много раньше, чем он. Русский сделал какой-то невиданный, невозможный в природе гибрид непокорности и примирения с участью: не пошел по прямой, а ввинтился в вышину управляемой бочкой, каждым вспыхивающим красным своим оборотом как будто отсчитывая этажи до последнего, нужного, пропуская Шумахера под собою вперед и наверх, и упал на живот у него за хвостом. Все, что было машиной Шумахера, пало на древнюю каменистую землю обломками, наковальной моторного сооружения.

Для того чтобы так превратиться из жертвы в хозяина смерти, нужно было иметь абсолютное чувство пространства и владеть своим «Яком», как гимнаст своим телом. Велика вероятность, что с этим 13-м номером мне уже приводилось встречаться. Я тогда так и не ощутил на себе его подлинной силы – может, и ощущать было нечего.

Пресыщение легкой поживой и грубой, дровокольной работою схлынуло – мы с какой-то невиданной, первобытнозвериной, нас самих изумляющей силой захотели не выпороть их, а убить. Это не было тою здоровой, естественной ненавистью, что несла на нас русских, – нас вела на охоту потребность удержать изначальный порядок вещей, иерархию силы, которая вовсе не пошатнулась, но уже перестала казаться иванам пожизненной данностью. В них вздрагивающей рабской надеждой заскреблось «Кто был ничем, тот станем всем» – нужно было не дать им уверовать в это, нужно было загнать их обратно в ничтожество, прикрепить к отведенному месту.

О 13-м номере, вожаке «красных псов», говорили отдельно, как о страшных морозах зимы 41-го года, о его баснословной способности выгорать до прозрачности в каждой своей эволюции. Неожиданно всем захотелось узнать его имя, назвать человека, а вернее явление, с которым столкнулись. Ослепительный солнечный мрак, поглощающий личность? Ну почти. Не совсем. Убивая Шумахера и Лозигкейта, он пел. «Когда простым и нежным взором...» – вот что было гвоздем его репертуара. Даже сквозь завывания электромагнитного ветра было слышно, что слуха у него нет совсем. Руди был бы убит этим гнусным задыхающимся баритоном, но, похоже, тут действовал принцип возмещения природной обобранности: сколь фальшиво он пел, столь безжалостно чисто исполнял нашу смерть. «Герман, ты знаешь русский. О чем он поет?» – «О том, что он скоро нас всех поимеет». – «Улыбаешься, Борх? Вы, конечно, у нас исключительный случай». – «Да, именно, я – случай исключительный. Дальтоник. Для меня все „индейцы“, одинаково серы. Так что, боюсь, когда мы встретимся, я отнесусь к вот этому горлану без заведомого трепета».

Да, да, мы слышали их голоса – на русских машинах наконец появились убогие рации. Сквозь треск и вой радиального эфира пробились имена и позывные: «Балобан, Титаренко, Зворыгин, Султан, Лapidус...», татарские, еврейские, крестьянские фамилии, невразумительные «Ландыши» и «Маки» – установить, кто именно из них так любит петь, пока не удавалось.

Минки-Пинки дрожит, увязая крылом в снежной плотности туч, и опять затихает на чистом просторе. Четверка Баркхорна идет на Моздок, а я веду свой шварм на Малгобек. Большой хребет Кавказа придвигается лилово-синим фронтом каменного шторма, огромная отара сахарно искрящихся на солнце облаков сползает нам навстречу по невидимому склону,

их разлохмаченные грязно-сизые хвосты свисают до самых кремнистых холмов, серо-войлочных пастбищ, столетних чинар... Еще чуть – и утонем в непроглядном ледовом дыму.

– Говорит пять-один. Все на Hanni пятьсот³², пока мы не ослепли, – командую я, понимая, что так мы теряем способ зрения сокола, бога, высоту для обвальнoй атаки, когда убиваешь раньше, чем низовая пожива завидит тебя. Делать нечего: если уйдем на Nordpol, вообще никого не увидим.

Глаз скользит по долине меж двух горных гряд, по шоссе, запруженному «блицами» и тентованными «мерседесами» с красным крестом, – мы проходим над ними так низко, что видим лица наших солдат – закопченные, но улыбающиеся. Это нам воевать здесь непросто: над гористым ландшафтом не походишь на бредущем.

– Всем велосипедистам! Квадрат двадцать один! Я гауптман Экхардт! Кто рядом – на помощь! На помощь... о боже... они нас прикончат! Куда ты, кретин?! Выводи, выводи!.. Гю-у-нте-ер! О боже, ублюдки, Святая Мария! Прииде на помощь! Все немцы, на помощь, прошу вас, сюда-а-а! У меня жена Эльза и дочери Сигилд и Ханна...

Там молят о божественном вмешательстве – это как раз по моей части.

– Направо, ребята, – кривясь от призванных попасть в дыхательное горло «Сигилд, Ханна», я поворачиваю Минки-Пинки на агонию. Ни разу не слышал, чтоб кто-то из расы воздушных господ взмолился с такой скотской мукой, с таким детским страхом потерянности.

В открывшейся чаше кремнистой долины голодные «Яки» по кругу гоняют пятерку ревущих, дымящих, свистящих дырявыми крыльями «штук». Четверка русских зверствует на нижнем пределе высоты, а еще одна пара спиралями ходит на тысяче, прикрывая своих от неожиданного обрушения высотных гостей: невидимками мы не обвалимся.

– Говорит пять-один. Направление – десять часов, сорок градусов выше. Все на Северный полюс! – отчеканиваю и вонзаюсь в округлую полынью в облаках.

А чего вы хотели? Чтобы мы сами рухнули в эту воронку, в которой и без нас слишком много машин? Мы пришли убивать, но не собственной тушей.

Озираюсь: Гризманн, Курц и Кениг у меня за хвостом и левее. Я даю полный круг над сияющими снеговыми валами.

– Эй, ребята, какого эти русские цвета?

– Красного, красного! – так, как будто кричали все время, а я их не слышал.

– Дырка справа! Прикрой меня, Фриц! – издаю атакующий клич, разглядев в голубой полынье крестик красного «Яка».

Солнце лупит в прореху, превращая меня в невидимку, в часть своей светосилы, бьющей русскому прямо в затылок и темя. Красный «Як» вырастает со скоростью моего вихревого падения – и, прожженный моим немигающим взглядом, кидается в переворот, но увы, слишком поздно: мои трассы проходят сквозь его фюзеляж, и, выметывая грязный дым из пробоин, он срывается в штопор – не птица, а бесформенный и неуклюжий предмет.

Вывожу Минки-Пинки в бесхитростный горизонтальный полет, обернувшись туда, где не может не возникнуть второй – так и есть: в ста пятидесяти метрах у меня за хвостом и левее. Я тяну рукоять на себя, зная, что без натуги уйду от него. Он за мной не взмывает: на него уже рушится Фриц.

В верхней точке подъема скольжу на крыло и, спикировав метров на триста обратно, выхожу в горизонт, собирая кишачие жизнью горбатые голубые осколки своих полусфер в замечательно чистый бесшовный витраж. Три наши «штуки» с дымовыми шлейфами форсажа удирают на северо-запад. «Яки» бросили их, устремившись на нас. Наши пары рассыпались, каждый сам за себя. Солнце бьет мне в глаза, и засвеченный солнцем «индеец» идет

³² Hanni (нем.) – кодовое слово пилотов люфтваффе, обозначающее высоту.

на меня в лобовую – чуть скольжу на крыло, услышав умоляющий жалобный визг Минки-Пинки: «Спаси!» – и ныряю под бешеный просвист огромного плуга, раскатавшего воздух так близко от моей головы, что на миг я оглох. Он уходит на горку. Тут же делаю полупетлю у него за хвостом, опрокинувшись вниз головой и видя впереди над собой этот «Як», что уже замирает на незримом воздушном хребте и покорно ложится на брюхо. Я несусь ему в хвост, зная, что этот «красный» способен на правый боевой разворот. Он уходит нырком у меня из-под носа, начинает пикировать к близкой земле, поманив за собою меня, мимикрируя под недоумка, как будто не видя, что оставшихся метров ему для отрыва не хватит, и с угаданной мною переламывающей резкостью вынимает себя из падения на вертикаль.

Где-то я уже все это видел, мой друг: едва не вонзившись в кремнистую плоскость бурана, корчевальным движением тяну на себя накаленную ручку и уже ничего, кроме мерклого света вокруг... Но живущий не в теле, а выше, заполняющий все и вмещающий все соучастник моего бытия чувствует, как красный «Як» впереди начинается вращаться на горке, выходя на атаку разученной бочкой; видит, как траектория восходящего лета его провисает, словно отягощенная бельевая веревка, – в то мгновение как я продолжаю движение ввысь по прямой, уподобясь Шумахеру... как же все-таки жалки вторые и третьи концертные исполнения смерти.

Выйдя в горизонтальный полет, я со смехом всезнающей твари швыряю себя в спасительный косой переворот, чуя близкий, как кожа, оглушительный просвист его пулеметной струи. И, зажив у него за хвостом, уходя от него, затопив пустотой его нежный и ласковый взор, в сей же миг разрезаю густой сдобный воздух боевым разворотом – на запах! «Як» прошибла расстрельная дрожь, отлетели большие куски, из дыры в фюзеляже забил желтый факел, распустился на встречном потоке, пожирая машину до киля, и тотчас, еще в миг огневого плевка, захлестнула мне горло досада: и все? Это все твои песни? Весь ты? Да, ты дался мне трудно, но так скотски быстро. Что мне делать теперь? Кто мне даст эту радость предельности, пусть хотя бы на два оборота секундника, кто заставит меня переламываться и кататься в таких полупереворотах от хохота?

И как будто в ответ – со свежующей силой – что-то мне обдувает затылок, что-то по восходящей раскраивает не успевший зажечь толком воздух у меня за спиной, возникая в моей мертвой зоне, так, что я не увидел, а всей позвоночной электропроводкой почуял эту новую смерть у себя под хвостом. Приступ смеха бросает меня в полубочку, ухожу на ноже из-под трассы... Ого! Эта тварь чуть не вскрыла мне брюхо продольным разрезом. Новый «Як», сократившись на взмыве до размеров стрижа, обращается вниз и назад, начиная пикировать в точку, где я, заложив боевой разворот, не могу уже не очутиться. Как же все-таки все они зорки, сколько могут осиной сетчаткой схватить, а ведь я считал это фасеточное всеохватное зрение своей исключительной собственностью.

Он опять у меня за хвостом, выражит еще круче, чем я, и выхлестывает свои трассы в точку перед моим красным носом. Воздух перед глазами перекрыт негасимыми нитями огневого забора – вот теперь уж и вправду спасительным стапятидесятиградусным полупереворотом ухожу из-под трассы, опрокинувшись вниз головой, почему-то не лопнувшей от чугунного натиска крови. Три минуты я занят продлением собственной жизни и только. Будто впрямь не один человек то и дело бросает меня в эволюции, огневыми хлыстами хлеща пустоту у меня за хвостом, перед носом, а накинулись четверо, шестеро... На втором развороте понимаю, что он – это он, старый друг и убийца Шумахера, а убитый мной только что русский – всего-навсего преданный подражатель его, обезьянью копирующий «переломы» и бочки своего жоака.

Ухожу из-под мысленной трассы, становящейся режущей явью, но не вылетел, нет, из магнитного глазоохвата ивана, продолжая его ощущать как заливший пространство немигающий свет – непрерывность усилия поселиться в мой череп. Мысль этого ваньки обгоняет

его самолет, даже сердце, обросшее мясом, дюралем, крылом, весь телесный его аппарат и бесплотным стрижом режет воздух, то и дело сшибаясь с моей беспокойною мыслью, неуговорно ищущей того же, что и он.

Как и я – бог ты мой! – мыслит он не фигурами: виражи, развороты, обратные петли – для него только буквы в письме. У него замечательный, родственный мне рваный стиль – ни кратчайшего дления горизонтального и прямого полета, колебаний, сомнений, слепоты, слабоумия между превращениями красного «Яка».

То, что он исполняет, похоже на черную *Schräge Musik*³³. Он как будто все время сам же душит свое самолетное соло и не может его задушить, сам не знающий, что же он выкинет через мгновение. Я как будто отчетливо вижу рули его красной машины, шевелящиеся, как стопы балерин у станка.

Я верчусь, кувыркаюсь от смеха в прожигаемом трассами, рассекаемом крыльями незаживающем воздухе. Неприступные горы и небо начинают вращение вокруг Минки-Пинки – ухожу правой бочкой от огненных меток, боевым разворотом захожу ему в хвост, но быстрее, чем сквозь мои пальцы проскочила расстрельная искра, он с такой переламавающей пыточной резкостью подымает свой «Як» на дыбы, что меж ребер впиается и продавликает понимание, что я сам никогда Минки-Пинки наверх по такой крутизне не втащу, а вернее, такого давления не вытерплю – голова в верхней точке подъема разломится. Вот чем еще он убивает – пневматическим прессом таких перегрузок. Отжимает тебя до бессочной избытки, раз за разом вминая в сиденье лишь одним представлением, как больно ему и насколько ты хрупче его: ты из мяса, а он – из железа.

Я себя берегу, не вгоняю себя вслед за ним по отвесному склону в свинцовую плотность – есть еще голова, есть холодные числа, эта область господства германского гения; ни к чему так мочалить себя – нужно просто его обогнать, как секундная стрелка минутную, представлением о том, что захочет он вытворить. Затянув Минки-Пинки в боевой разворот, опрокидываюсь вниз головой, и, скользя на крыло, опускаюсь внутри виража бесподобного Ваньки, исхитрившись вписаться меж «Яком» и центром незримой пластинки, выношу за его острый нос перекрестье прицела и втискиваю кнопки спуска в штурвальную ручку, так что русский не может уже не пройти сквозь мои закипевшие трассы. Голова будто лопается от напора прихлынувшей крови. Моя мысль о его неминуемой судороге не становится материальной, хотя огненный бисер и нижется на незримую ось – ученически грязной, бесподобно уродливой бочкой, волчьей квинтою на вираже красный «Як» зарывается носом в густой, взбитый в масло его оборотами воздух и, застряв в пустоте, обрывается вниз: я выметываю раскаленные метки в пустое.

Только тут понимаю, что он, вероятней всего, уже пуст – не исчерпан, не выстроил на лету все идеи и тем более не обессилел телесно, а свинца и железа в его барабанах и лентах – лишь на десять секунд непрерывного пламени.

Ничего уже не понимаю, а верней, просто не успеваю называть все фигуры по имени – такова и его, и моя самолетная скоропись: вертикаль – слепота под чугунным нажимом среды – ледяное наитие переворота, сразу переходящего в боевой разворот... Через миг мы свиваем такой прихотливый клубок, что на выходе из виража я мертвею от стужи, не от ужаса – от изумления, видя, что мое серое с желтым крыло как бы перетекает в его закругленное красное, – точно два постоянно обращенных друг к другу одинаковыми полюсами магнита наконец-то сошлись.

Точно одноплеменные птицы, мы летим с ним в одном направлении и беспомощны, словно спеленатые. Шевельни кто-то ручкой, надави на педаль, заскользи на вираж – и вто-

³³ *Schräge Musik* (нем.) – досл.: «неправильная музыка»; запрещенный в нацистской Германии джаз – «дегенеративная музыка негров и евреев».

рой тотчас вскроет его, как консервную банку, простейшим и привычным телодвижением. Оба зажили в новом, смешном, уязвимом для боли и смерти обличье, беззащитные перед ударом откуда угодно. Объявись сейчас рядом его кумачовый собрат или кто-то из моих Rottenhunde – расстреляют кого-то из нас, словно плот на реке. Или русский таран, а вернее, короткое мерзкое трение крыльями и фюзеляжами в первобытном усилии высечь машиной двадцатого века из такой же машины огонь. Невыносимое железное стаккато, кинематограф молний и темнот – и целлулоидная пленка жизни лопнет, вздумай он бросить «Як» на меня, а не от... Ну а если его пулеметы пусты? Может быть, я вообще повредил ему тяги рулей. Нет, внедриться в чужую башку, существо невозможно. В чью угодно, но только не в эту. Смех не выплескивается из меня, словно вода из перевернутой бутылки – только в силу того, что она переполнена. И еще через миг, позабыв о своей и его совершенной беспомощности, про любые ходы королей на соседние клетки, я как будто не собственной силою делаю то, что действительно сделать хочу, одновременно самое дикое и наиболее близкое к человеческой сути. А верней, только тут сознаю, что давно повернул близорукую голову влево и смотрю сквозь стекло на него – так же пристально и неотрывно, так же недоуменно и всепонимающе, как и он на меня.

Лобовое его остекление густо зашлепано грязью. Эти «Яки» страдают хроническим недержанием масла, и оно расплескалось и по обращенной ко мне боковине его фонаря. Но я вижу сквозь эти косые потеки лицо – обманчиво спокойное, блестящее от пота, как майолика, молодое лицо измочаленного человека. Стариков в небе нет. Обожженное в горне лицо с примечательным выпуклым лбом, крупным носом и плитами скул, хоть могло быть любым: детски круглым и жалко податливым, несуразным, со стесанной челюстью и обиженно сжатой куриною задницей вместо твердого губа рта – не имеет значения. Помесь ужаса с гневом в зрачке – так глядят угодившие в путы, плененные хищные птицы, так глядят, когда больше не могут ударить.

Как понять смысл взгляда сквозь двойное стекло фонарей и потеки машинного масла? Но я чую буравящий натиск, непрерывное, долгое стержневое усилие вынуть мой мозг, целиком заместить своей волей, и мне кажется, он не сейчас посмотрел на меня, а искал меня мысленным взглядом все время. С первой той нашей встречи под Красным Лиманом. Я не вижу в глазах его ненависти – справедливой беспримесной ненависти к представителю вида, народа, который убивает всех русских, – он глядит на меня с застарелым омерзением к себе и стыдом за свою нищету. И, наверное, все же с огромным, безотчетным влечением сильного к сильному.

Никогда мы не скажем друг другу ни слова. Я хочу показать большой палец, этим универсальным жестом глухонемых не сказав и толики того, что хочу передать: ты один мог меня так измучить нашей сверхскоростной безысходной Протеевой каторгой, ты один мог так долго оставаться живым у меня перед носом и даже заставлять меня жить там, где я не хочу. Я хочу показать большой палец, но руки остаются приваренными к рычагам.

Мы магнитим друг друга, но стрекочет в башке вечный секундомер, кто-то из пассажиров, сидящих во мне, молотком лупит в стенку: «Эй ты там, мы хотим быть живыми!» – и, вздрогнув от набата внутри, подчиненно бросаю взгляд на красную лампочку: ну, конечно, бензина – только на возвращение домой. А если он решил меня не отпускать? Но мне кажется, что он не вывернет руль на взаимный разнос – не из страха, а лишь из инстинкта красоты боевого полета. Убивать меня так он не станет, веря в то, что способен убить красотой. Есть еще беспредельное кровно-дрожащее «жить!» – в каждом, в каждом... а в нем? Невозможно вселиться в чужую башку. В чью угодно, но только не в эту.

Нежнейшим пианиссимо, легчайшим трепетным нажимом отклоняюсь от пыточной близости на волосок. Ничтожная полоска пустоты меж законцовками растет, точно дверная щель от воровских или родительских прикосновений: «спит?» Фонарь его забрызган

темным маслом, но на такой дистанции ему хоть выколи глаза: если он заложился убить, все едино ударит – лишь на чувстве пространства, шевельнувшись кутенком в мешке, всем своим напружиненным телом подавшись на гудение крови, на запах. И тут его губы поводит какое-то чувство, и, дрогнув, они расползаются в бессильно-торжествующей улыбке людоеда, открыв все тридцать два белейших зуба, и он отгоняюще машет рукой: «Исчезни же ты наконец!» Никогда я не видел такого свободного, властного жеста, и этого я ему никогда не прощу: никто и никогда не может давать мне дозволение на жизнь.

В тот же миг за спиною у нас проявляется троица «Яков» – может быть, он сначала увидел собратьев, а потом уже рыцарски мне замахал, не желая смотреть смерть беспомощного, *отпуская* меня, раз не может убить меня сам. Никогда не узнаю. Вмиг валюсь на крыло и пикирую, разорвав нашу спайку по незримому шву. Выхожу из пике на пологую горку над грядой невысоких холмов, оборачиваюсь на уменьшенный до размеров стрижа абрис русского, что уже отвернул от меня на восток, и с торжествующей тоской освобождения, с какой-то радостною мукой обворованного выпускаю из себя все, чем был переполнен до набатного звона, из чего от макушки до пят, от винта до рулей состоял.

Русский тонет в холодной, смиренной, обесмысленной голубизне. Сколько мы с ним летели крыло о крыло? Вряд ли больше минуты. И за это ничтожное время, каждой связкой и жилкой готовый откликнуться на любое движение его, я успел его так хорошо рассмотреть, стольким с ним обменяться, точно мы одолели расстояние Минводы – Берлин. Время точно не двигалось. Время – это такая вода: то сжимается, то расширяется, замерзает, кипит... Он дал мне странное мгновение высшей жизни, этот русский. Что же значил последний его отгоняющий жест? Никогда не узнаю. Не имеет значения. Непрерывно-живая красота боевых эволюций пресеклась, когда мы встали вровень, приварившись друг к другу законцовками крыльев. Дальше мы уже не убивали, а жрали друг друга глазами. Завтра мы повстречаемся снова. Ареал обитания – Кавказ. Я не высчитываю степень вероятности, не делаю поправок на сопутствующий мусор, на рои бомбовозов с его и моей стороны – все, что может лишить нас возможности пообщаться один на один. Мы не можем не встретиться. Это не мистицизм. Это, если угодно, законы природы. Как не разрубишь пополам магнит.

Я один. Где мои Rottenhunde? Не хочу на возвратном пути напороться на русскую стаю – ощущаю себя оплывающей от головного фитильного жара свечой, потерявшим границы и прочность железным куском. Не могу не признать – тело врать не умеет. Столько пота никто из меня не вытапливал...

На тринадцать часов, десять градусов ниже проклюнулись два черных зернышка. Пришпорив немного свою Минки-Пинки, ращу эту пару в стекле: трапезиевидные крылья, носы... ну да, это Дольфи и Кениг. Где Курц? Мне кажется, я знаю, где он.

– Говорит пять-один. Эй, вы там, обернитесь. Никого не забыли?

– Прости, командир, – отзывается Кениг виновато-страдальческим голосом. – Нам пришлось уходить из-за жажды! Бензин на нуле!

– Командир, ты прикончил его?! Скажи, что ты прикончил этого ублюдка! – умоляет Гризманн, задыхаясь от бешенства и унижения.

– Нет. – Выясняется, это довольно болезненно – признаваться, что ты не убил.

А они ведь так верили во всемогущество Борха, как в какой-то природный закон, всюду действующий с одинаковой неумолимостью. – Хорошо, тебя не удивляет, что сам я живой. – И без жалости – раскаленным паяльником в мозг: – Я так понял, о Курце мне лучше не спрашивать?

– Этот русский попал ему прямо в фонарь, – сквозь зубовное сжатие стонет Гризманн...

Ветер студит меня, я стою на земле. Минки-Пинки, живая, собака, чьим именем я назвал свою тысячесильную девочку, ошастливленно тычется мне мокрым носом в ладони. Вокруг нас – пропыленные парни с загорелой обветренной кожей, полуголые, в майках, в

трусах. Большинство – племенные красавцы с костяками и мускулами Аполлона Помпейского. Я смотрю на их бицепсы, плечи, неувредимую, цельную плоть и как будто бы только сейчас понимаю, что любое из этих божественных тел – тело Кенига, Дольфи или даже мое – может быть прямо завтра разорвано; с неожиданной ясностью вижу, как оно, чье-то тело, превращается в черно-багровую обезличенную головню, как оно разбивается, плющится, точно ковочным прессом, при соударении инвалидной машины с землей.

Из недр нашего штабного блиндажа выбирается Реш – тяжело, словно из-под завала: кроме Курца, эскадра за сутки потеряла еще четверых.

После смерти Шумахера командиром эскадры назначен был Реш. Если бы в нашей стае была «демократия», мы бы единогласно избрали его же.

– Ну и как он вам, Герман? – Реш глядит на меня понимающим взглядом – он еще год назад, в безмятежном, счастливейшем августе, был так же сумрачен, говоря: эти русские будут нас убивать, мы сильнее, но мы не бессмертны, как бы в это ни верилось, как бы явственно ни ощущалось.

– Он остался живым, – пожимаю плечами со значением: «этим все сказано». – Я уж было совсем разуверился, что когда-нибудь это скажу, но, по всей видимости, мы столкнулись с чрезвычайно одаренным человеком. Это решительно противоречит нашей расовой теории, но зато не вступает в разлад ни с теорией Дарвина, ни с представлением о Божественном промысле.

– Ну что ж, поздравляю, – усмехается Реш, зная, чем я питаюсь – Наконец-то вы встретили сильного русского. Поздравляю вас всех, господа. Эти красные черти, полагаю, из тех, кто сумел выжить на протяжении всего сорок первого года. Слабых мы сожгли сразу, а эти остались. Только самые сильные в их воздушном питомнике. Они прошли естественный отбор, который мы устроили иванам, и теперь представляют угрозу много большую, чем изначально. И если мы не перережем их сейчас, то через год придется начинать сначала. Оставшись живыми, они воспитают других, молодых, и это будут новые дивизии – с чем, с чем, а с поголовьем у русских все в порядке. А нам, в свою очередь, Герман, придется заняться вот этими... – Он задрал лицо к небу и кивнул на закат, как на завтрашний день.

С подкрашенного киноварью запада накатывает гул: восьмерка 109-х идет на обомлевшую Солдатскую – какие-то несомые бурливым Терекон плоты, какие-то бесхвостые птенцы, блуждающие широко и слепо, порывисто вихляя и подпрыгивая.

– Идут на штурмовку! Спасайте свои головы, ребята, сейчас эти кретины нас благословят!

С грехом пополам притершийся к грунтовке «мессершмитт» стремительно и неостановимо катится к огромному сараю далеко за концом полосы – и вот уже продавливая носом загрохотавшие дощатые ворота и молотит в сарайных теснинах винтом, с ужасающим треском врубившись в косяки замечательно чистыми новыми крыльями и едва не втянув под тесовую крышу антенну.

– Бог мой, где же их сделали?

– Одного из них сделал я. – На похоронно скорбном лице Реша проступает то жалкое и сострадательное любованье, с которым все отцы от века глядят на единственных сыновей и последышей.

Вот они вылупляются из своих фонарей, точно из скорлупы, – неуверенность первых шагов по неведомой русской планете – белокурые, рыжие, черные мальчишки, свежесвеженные лейтенанты с горящими щеками и огромными глазами. Мы глядим на их новые комбинезоны, на блестящие высотомеры на скрипучих ремнях, а они, сбившись в кучу, обожающе смотрят на нас – настоящих воздушных убийц, о которых так много читали и слышали.

Реш в своей мятой ношенной форме и стоптанных трудовых сапогах – кочегар, а не великолепный командир самой страшной эскадры Восточного фронта – с неприязненным

видом стоит перед ними, обшаривая всех и каждого взглядом барышника, выбирающего жеребцов:

– Привет, невинные детишки. Я майор Густав Реш, это гауптман Борх, который специально бросил все свои жалкие дела, чтобы полюбоваться вашей классной посадкой. Мы просто в восторге, и сейчас я потрачу пять минут своего драгоценного времени, чтобы вбить в ваши головы главные принципы жизни в моей Jagdgeschwader³⁴. Вы прибыли сюда не потому, что рейхсмаршал решил, что без вас нам не справиться с красными крысами. Вы прибыли сюда на место восьмерых погибших немцев, на место восьмерых экспертов, каждый из которых имел по тридцать – сорок сбитых русских. До их класса вам... как до вершины Эвереста, и все они сгорели в небе заживо или вошли на глубину три метра в землю. Вы будете сидеть на их местах в столовой, вы будете пить из их кружек и есть шоколад, который они не доели. Вы понимаете, о чем я, сосунки? Вы понимаете своими цыплячьими мозгами, как вам придется постараться, чтобы дожить до следующей недели? Я не хочу, чтоб вы обгадились от страха прямо здесь, я хочу, чтобы с этой минуты вы делали все на пределе внимания. Скажу вам, как Господь Христос апостолам в Гефсиманском саду: живите здесь и бодрствуйте со мной. Скажите мне, зачем вам эти шелковые шарфы? Чтобы вы до кровавых мозолей не натерли себе шею о воротник, озираясь в воздушном пространстве, непрерывно вертя головой, непрерывно. Запомните одно простое правило: абсолютное повиновение. Атаковать только того, кого вам скажут, и только тогда, когда вам разрешат. За свою девственность не беспокойтесь – такие, как Борх и Баркхорн, позаботятся о том, чтоб познать вас с хорошенькой девчонкой, горячей, норовистой, но не слишком. Второе правило: здесь всем насрать на ваши звания лейтенантов. На земле я, конечно же, требую от своих людей полного соблюдения субординации. В небе все по-другому: каждый унтер для вас – царь и бог. Кому быть роттенфюрером в паре, определяется количеством побед, а не птичками на ваших свежих нашивках. Если я вылетаю на охоту с фельдфебелем, у которого больше побед, Rottenhund буду я, а не он, невзирая на все мои крестики. Если он сказал: вверх – значит, вверх. Если он сказал: живо домой – значит, живо домой. Это он посылает вас в задницу.

– Герман Борх, иди в задницу, – произносит отчетливо кто-то в строю, мечтательно рассасывая сладость этой фразы.

Оглушенные лопнувшей прямо под ногами шутихой, мальчишки поворотами голов на девяносто градусов неузнающе, ошалело озираются: кто смел?!

Не сдержавший смешка святотатец – белокурый юнец с голубыми глазами и презрительной ямочкой над подбородком – замер на острове среди отхлынувших, с неподвижной улыбкой выдерживая изумленные взгляды: ты кто?

– Я имею в виду, герр майор, что со временем... чисто теоретически... я бы мог так сказать. Вы же сами сказали: у кого больше сбитых. Так что если со временем я... чисто теоретически, – губы, дрогнув, ползут в совершенно бесстрашной улыбке, обнажая белейшую кромку зубов, – я бы мог послать в задницу Германа Борха. – Взгляд его переполнен раскаянием – совершенно прозрачной убежденностью в том, что он может меня обогнать. От него так и веет неведомо чем подкрепленным ощущением собственной силы и права господствовать.

– Ну конечно, малыш, ты обгонишь меня. Но не раньше, чем я превращусь в старика на больничной каталке. Или хочешь, чтоб я вообще не летал, пока ты не подтянешься? – Я смотрю на его пухлощекое, нежное, но и резко очерченное в подбородке и скулах лицо, красивое отчасти промтоварной, открыточной смазливой красотой, – с неумолимой силою

³⁴ Jagdgeschwader (нем.) – истребительная авиационная эскадра.

породы в нем проступает мой отец: отцовский лоб, упрямый подбородок, рельефный рот потомственного гордеца.

Он смотрит на меня с проказливой улыбкой, как во все тридцать тысяч дней нашего детства, когда мы, голые, как дикари Майн Рида, забирались в чащобу Мюрицкого леса, сооружали планеры из старых одеял и, коченея на ветру, боролись с высоченными обрывистыми волнами в лагунах.

Я знал о прибытии свежего мяса в эскадру, я знал, что он закончил школу в Ангальт-Цербсте и должен в скором времени отправиться на фронт, но не знал о его назначении в нашу эскадру. Знакомьтесь – Эрих Нахтигаль. Или попросту Буби, Малыш. Еще не оперившийся птенец, из которого вырастет черт знает что. Обаятельнейший вертопрах и ходячее, а вернее, летающее нарушение параграфа 72. Самолюбивое животное с моралью жеребца-производителя и в довершение вышесказанного мой единокровный младший брат.

4

Увидеть Нику – только это гудело набатом в его голове. Вот чем воистину его, воздушного солдата, наградили – пятидневной побывкою, радостью, страхом отыскать эту девочку в миллионной Москве. Никто не слышит одиноких голосов великой прорвы лейтенантиков, совершенно уверенных, что любят только раз в жизни и что лучше той девушки нет никого. Никто не должен слышать молчаливого задавленного стога русских воинов, умудрившихся втюриться или тоскующих по покинутым женам и семьям в неурочное время войны; никому уж теперь никаких отпусков не положено, разве что по ранению. И за всю жизнь, за всю войну не выпадает большинству такого, что чугунной подковой обрушилось на голову капитана Звoryгина.

Застигнуть Нику... Но увидел Кремль – и о Нике забыл. Кремль, Кремль был явлен троим освобожденным из-под стражи «диверсантам» – небывалый, как будто накрытый черной давящей тенью, которая напoлзла на Россию два года назад и с тех пор ненамного подвинулась вспять под великим всенародным нажимом. Совершенно не тот красный Кремль, который они видели на репродукциях огромных солнечных полотен или издали, – этот был без рубиновых звезд, без зубцов типа «ласточкин хвост» и ступенчатого Мавзолея с заревым начертанием ЛЕНИН, с желтоватым Сенатским дворцом, разделенным на куски, словно торт, широченными черными маскировочными полосами, так что в глубь нерушимой фасадной стены уходили сквозной чернотой переулки: получался уже не дворец, а как будто обычный квартал, вереницы отдельных домов, так что ясно: прорвись к сердцу Русской земли дальнoбойные «юнкерсы» – никакого Кремля не увидят они с высоты.

Но для них, отличенных и призванных соколов, все одно проступали в таинственной надмировой вышине и внимательно, строго глядели на них негасимые красные звезды. Одолели последний высотный барьер и как будто забыли, что не только с заломленной головой, но и сверху возможно увидеть священные звезды, что возможна подъемная сила своя и что небо везде – безначально и вечно свободно.

Окончательная справедливость всех советских людей неприступно молчала над ними. Никому ничего объяснять не должна, все должны – отстоять от любого врага, от себя самого, от вопросов своих эти стены, все исполнить, как надо, и тогда будешь призван сюда, поплывешь, под собою не чуя земли, под священные своды.

В ослепительно залитом вечным полярным сиянием пространстве, в белокаменном зале, соборе цепенела рядами плечистая молодая мужицкая масса: пехотинцы, танкисты, авиаторы, артиллеристы, моряки в кителях с золотыми погонами, возвращенными в Красную армию, пластуны в своих черных черкесах с мельхиоровыми газырями и красным баш-

лыком за спиной, инженеры, конструкторы, бригады, шахтеры, колхозники в одинаковых темных костюмах, и все – с посуровевшими, прокаленными вышним сиянием лицами.

Дуновение силы – и тотчас из морозного этого света появились сперва адъютанты, а потом генералы с партийными секретарями, среди них и немного отдельно от всех – с клиновидной бородкой, Калинин! И уже вырастали, прямилась, выходили из строя один за другим пехотинцы, уничтожившие пулеметный расчет или взвод, лично – восемь фашистов, застрелив пятерых и прикладом убив остальных, командиры подлодок, эсминцев, знаменитые снайперы с сотней зарубок на прикладах своих СВТ или «мосинок»...

Что-то ткнулось корягой Зворыгину в бок, покачнув его, выдавив из пилотской шеренги, и пошел в раскаляющий, отворяющий кровь, не сжигающий свет и, сцепив деревянное рукопожатие с председателем СССР, на мгновение увидел человека из дряблой, изношенной кожи, стариновски уставшего от наградений десятками, сотнями, принял два нестерпимо весомых футлярика с Золотою Звездой и орденом Ленина и отчеканил, просипел зачужавшим, потаявшим голосом в небо: «Служу Советскому Союзу!» А за ним той же огненной, раскаленной, как сляб на рольганге, дорожкой подступили в веснушчатому старику Лapidус и Султан с аккуратно пришитым, заштопанным ухом.

Фотографические молнии вмуровали в газетную вечность застывшие в жалком победоносном ожидании летчицкие лица, и вот уже воздушное течение потащило героическую массу в разверстые двери-врата – наверное, в новый сияющий зал, где будет бокал за победу. Их всех наставляли, куда им идти, к чему быть готовым... Зворыгин забыл.

– Товарищ Зворыгин. Идите за мной. – Безликий от бесперебойного «есть!» капитан дорогу ему преградил, всем видом своим исключая вопросы «куда?» и «зачем?».

Тащил коридорами, вывел под небо. Бывало, посланцы с командных высот необъяснимым образом отыскивали Григория в тылу, сажали в подогнанный черный «паккард», везли среди ночи в КБ, на завод, к волшебному возникшему в чистой степи секретному аэродрому, каких только новых машин Зворыгину ни припадало облетывать, на «мессере» даже трофейном резвился... Но здесь и теперь – вели его в глубь, а не из...

Фонарь над обычной подъездной дверью – и вниз... Десяток ступенек, одна дверь, другая. Изогнутые коридоры. Зворыгин почувствовал холод и тяжесть, ту толщину бетонных перекрытий, в сравнении с которой пять накатов – это спички, полутонный фугас – что плевок на асфальт... В обложенной дубом, обшитой зеленым линкрустом приемной сидели главком авиации Новиков и незнакомый старый генерал с голубым авиаторским кантом на пыточно тяжких погонах – нестигаемо прямо, точно каждому всунули под коверкотовый китель вдоль хребта по штакетине, и ни тот, ни другой на Зворыгина не повернул головы: приварило, тиски. Но на дверь, что открылась напротив входной, – как один человек, как собаки, словно под фонарем на «Внимание! На девять часов, тридцать градусов выше – „худые“!»

Запуская оттуда новый воздух и свет, появился в массивных дубовых дверях лысый словно колено и красный как рак человек и движениями словно обваренной, проводящей какую-то высшую волю руки как бы вмел подскочивших пружинками воевод в кабинет, а потом посмотрел на Зворыгина жадными, безучастными сторожевыми глазами и, назвав по фамилии, повелел и ему проходить. И Григорий, войдя в кабинет, рухнул сердцем.

Из-за того конца массивного стола, подымая волною подземного жара приближенных, выжигая весь воздух в огромном своем кабинете, прямо против Зворыгина медленно, тяжело подымался нестерпимо живой, осязаемый – Сталин.

– Проходите, товарищ Зворыгин. Не стойте в дверях, – зазвучал голос силы, направляющей жизни всех советских людей, – утомленный, негромкий, отчетливый голос, выговаривающий каждое русское слово с небольшим, но заметным старанием, пересиливанием неродного ему языка, и от этой неспешности и пересиливания каждое слово было весом

со все самолеты и танки, урожай, заводы страны, даже самое будничное, как сейчас, так что каждый немедленно, отдавая все личные прочности, принимал на себя справедливую тяжесть вот этого слова, как налитый вишневый свечением слиток – формирующий пневматический пресс.

И Зворыгин пошел, поражаясь тому, что его не трясет, на усталый, отчетливый голос, который не только давил, вытесняя Зворыгина из него самого, но и страшно магнитил, надеясь способностью не задрожать, не сломаться и не оступиться. Он, Зворыгин, не чувствовал страха, забыл смертный страх, различая обжитый поношенный френч, шаровары защитного цвета, сапоги мягкой кожи, обтянувшие ноги наподобие плотных чулок, различая лицо человека – и похожего, и не похожего на несметные тысячи изображений Верховного, изваянных из мрамора, гранита, гипса, бронзы, написанных маслом, рисованных карандашом, запечатленных на бесстрастной киноплёнке, вытканых знатными ткачами на коврах и вырезанных знатными оленеводами из кости, возвращенных на земле из хлопка и составленных в голубой вышней пустоши из самолетов.

– Извините, Григорий Семенович, за то, что мы вас оторвали от ваших товарищей. Но если вы сейчас в Кремле для получения заслуженной награды, то мы хотели бы узнать от вас, как наши летчики сейчас сражаются на фронте. Примите мой сердечный привет и благодарность.

Раскаляющим жжением в груди он почуял вот этот привет, и рука его взмыла, поползла, одолела тугую полоску пограничного воздуха для того, чтоб сцепиться с его человечески теплой рукой! Пожимая, смотрел неотрывно в немного прищуренные, с магнетическим блеском глаза, что глядели в него с уважительным ясным вниманием, все уже про Зворыгина зная и видя его не насквозь, а как будто бы в целом, во времени: откуда он, Зворыгин, есть пошел, на чем возрос, кем был воспитан, и как он стал тем, кем является сегодня, и каким станет завтра – еще постальнеет или, наоборот, поржавеет, став негодным для этой и будущей небывалой воздушной войны и строительства СССР.

– Я всегда вам немного завидовал – летчикам. Человек в своей массе – существо земнородное и поэтому неба боится. И немногим дано подниматься в него и не только летать, но и бить в нем фашистов. Садитесь, пожалуйста. Все садитесь, товарищи. Скажите, Григорий Семенович, правду ли говорят, что немецкие асы по радиации предупреждают друг друга о вашем появлении в воздухе?

– Товарищ Верховный... – Онеметь ему было нельзя. – На это я могу сказать, что к нашему шестнадцатому гвардейскому полку отношение у немцев в самом деле особое. На Кубани мы стали им очень интересны как личности. Это раньше мы все для них были иваны. Наши «аэрокобры» приметные, киль у нас красный, заводская окраска – олива. Раз-другой с нами встретились и запомнили по номерам, знают: этих, то есть нас, просто так не сожрешь – мы их сами сейчас будем кушать. Но немецкие асы-охотники разные: одни и в самом деле от близкого общения уклоняются, а для других это большое удовольствие – над тобою себя, как от Бога, поставить. Не хотят уступать нам господство, упорные.

– Значит, мы все еще не господствуем в воздухе? – В ровный голос добавилось что-то, от чего всех живущих и дышащих здесь охлестнуло подземной леденистою студью. – В чем тут дело, товарищ Зворыгин? Как вы думаете лично? Может быть, дело в качестве наших машин? Может быть, они сильно, – сделал он ударение на «сильно», – уступают немецким в защищенности, вооружении, скорости? – Каждым словом продавливал перемятых, отжатых людей – точно табак распотрошенной папиросы в чашку своей трубки. И Зворыгин уже догадался, что половина здесь присутствующих лично ответственна за производство новых самолетов, а другая – за незамедлительное выявление виновных в том, что наши машины слабее немецких. – Может, наши конструкторы недорабатывают? Или дело тут не в самолетах, а в летчиках? Может быть, мы Зворыгина перехвалили?

– Летать, товарищ Сталин, – произнес он священное имя, и спазм захлестнул ему горло, – можно даже на бабушкином утюге. Лишь бы руки из нужного места росли.

Что же он, поспешил оправдаться? Виноваты машины – не он? Что его за язык потянуло? Соколиная спесь? Или страх показаться Верховному слабым, негодным? Правда же была в том, что Зворыгин ответил бы точно так же – любому.

– Хорошо ты сказал, – Сталин вздернул чубук. – Вот пришел человек и берется своим мастерством компенсировать прямо в бою все ошибки наших авиаконструкторов.

И совсем непродышно от этих похвальных страшных слов его сделалось в небольшом кабинете, словно тяжкий лепной потолок опустился и сдвинулись стены, и какую-то долей рассудка Зворыгин постиг, что Верховный расчетливо наложил на кого-то из призванных свое давящее недоверие и что сам он, Зворыгин, был призван сюда, вероятней всего, лишь затем, чтобы тотчас послужить подтверждением его недоверия.

– Товарищ Верховный, машины у нас хороши. Недостатки, конечно, имеются и у «Лавочкиных», и у «Яков». Совершенной машины я еще под собой не имел. Та же «аэрокобра», заморский подарок, по скорости зверь, но на малых высотах – утюг утюгом. «Мессершмитт» их проклятый хорош, спору нет: он за газом идет, ровно как призовой жеребец, только тронь – замирает как вкопанный, а наш «Як» в этом смысле ну о-очень тупой: дашь газ – он пока-а-а раскачается, а газ убираешь – он прет все и прет. Но в горизонтальном маневре он «мессер» сожрет. Нет, «мессер», конечно, на редкость вертлявый, но я его на «Яке» только так на виражах перекручу. То есть каждый нормальный летун, кто сектором газа умеет работать рывками. – Едва только он напал, как собака на след, на свое, становилось ему безразлично, перед кем он стоит.

– И машины хорошие, и Зворыгин хорош. Парадокс. – Верховный оборвал его с отчески-учительской усмешкой: знать о секторе газа и прочих мелких связках и жилках невеликих пернатых ему было излишне – он держал в голове только главное: «мы способны» и «мы не готовы», только силу дивизий, фронтов, авиации СССР, но улыбка его, расщеплявшая кожу в углах немигающих глаз, говорила о том, что Верховному нравится поглощенность Зворыгина истребительной музыкой, говорила: смотрите, вот каким должен быть настоящий наш сокол – вот какой должна быть в человеке приверженность правде.

Но слишком лучезарным был его ласкающий прищур, чтобы тотчас же следом не овеяло новой, страшнейшей студью всех призванных, что и так уже окостенели от обморожения крепким его недоверием.

– Почему-то мне кажется, что за каждым таким парадоксом стоят разгильдяйство и очковитирательство. Но вам лично, товарищ Зворыгин, я хочу принести благодарность за то, что вы говорите нам правду. А мне говорят: машины у нас просто великолепные. Самые лучшие машины в мире, говорят. Докладывают: справились. Догнали, перегнали. Взяли верх над немецкими асами. Празднуют! Все бы им только праздновать! Нацепили всего на себя! – ткнул прокуренным пальцем Зворыгину в грудь и как будто поддел, скovyрнул приживленную ни за что Золотую Звезду, но казнил не Зворыгина, нет, а Зворыгиным, зворыгинской правдой главкома военно-воздушного войска и наркома авиационной промышленности – на лицах их не обнаруживалось жизни, всем вырвали что-то из глаз и вырезали языки, и только Зворыгин, помимо хозяина Русской земли, остался в звенящем от стужи его кабинете живым.

– Не взяли, но берем, товарищ Сталин. День за днем, понемногу, не всегда, не везде, но берем. Нам все чаще теперь попадают их сопляки необученные – это сразу ведь видно по полету машины, что готовили их крайне спешно. Значит, некого больше стало бросить на нас. Это факт медицинский, это вам уж никто не соврет. Есть, конечно, у них еще части отборные, те же «черные волки» и «мельдерсы» – с ними мы еще горя хлебом.

– Неужели никто не может поставить вот этих отборных фашистов на место? Почему есть такие немецкие асы, которые могут уничтожить десятки советских машин, а у нас таких

летчиков нет? Это что? Пропаганда фашистской печати? Почему мы не можем добиться такой же личной результативности? Ваше мнение, товарищ Звoryгин.

– Товарищ Верховный. Каждый немец, он жмет на свой личный рекорд: подобрался, свалился, убил и удрал – вот их смысл, вот их главная тактика. Он свое самолюбие кормит, фашист. А наша главная задача – сбережение людей. Пехотинцев прикрывать на земле, бомбовозы родные прикрывать. Лучше я никого не убью, чем позволю убить одной бомбой много своих. Вот идет эшелон их лаптежников или «юнкерсов» – бомберов на позиции нашей пехоты – мы его разбиваем. Это первая наша задача. А гоняться за их «мессершмиттами» мы где угодно не можем – без небесной покрывки пехоту свою оставлять. Все согласно идее народного братства, товарищ Верховный. Глубоко справедливая, верная тактика. Потому что мы вон уж, под Курском – не они же в Москве.

– А если мы дадим вам возможность летать, где вам хочется? Вам и вашим товарищам лично? Если мы вас отпустим с цепи? Сможем мы в таком случае нанести немцам больший урон?

– Без сомнения, товарищ Верховный. Охоту в глубоком немецком тылу мы ведем... иногда, но задачи прикрытия с нас ведь никто не снимает.

– Почему не снимает? Почему мы не можем разграничить задачи? Мало летчиков? Мало машин? Товарищ Шахурин, скажите, сколько мы производим самолетов за сутки? Товарищ Новиков, скажите, можем мы срочно сформировать специальное подразделение свободных охотников? Наберется у нас классных летчиков для начала на полк? Для того, чтобы мы хорошенько смогли щелкнуть по носу этих зарвавшихся асов?... А как вы, товарищ Звoryгин, отнесетесь к тому, чтобы стать командиром такого полка? А мы подумаем о том, чтобы со временем развернуть этот полк в полноценную авиадивизию.

– Я отнесусь, товарищ Сталин, к такому предложению с восторгом. – Он, Звoryгин, услышан Верховною силой: отвела ему в воздухе столько свободы, сколько сам он хотел и не мог попросить; целиком ее воля совпала с его личной волей и тягой к самоосуществлению. – Мне бы только к земле в связи с новым назначением не прирасти.

– Молодец! Молодец, что опять рвешься в небо, на фронт. А мне тут говорят, что Звoryгина надо беречь. Что Луганского надо беречь. Говорят: мы назначим Звoryгина начальником отдела подготовки молодых истребителей. Генеральскую должность дадим, чтоб его не убили на фронте. Говорят: мы отправим Звoryгина представителем нашей боевой молодежи в Америку. Из Звoryгина сделаем символ нашей непобедимости в воздухе. Символ! Если всех так беречь, что мы немцу покажем тогда? Иконостас ему покажем? Это Гитлер пускай запрещает летать своим Борхам и Хартманнам. – И железным арапником захлестнуло Звoryгину сердце: Борх, Борх! – Ну, товарищ Звoryгин, хотите в Америку? Генеральскую должность хотите?

– Нет, товарищ Верховный, в Америку я не поеду. Разве тушкою только.

Верховный смотрел в него с нижним прищуром намученных долгой бессонницей век – все так же лучезарно, уважительно и даже с любованием: вот каким должен быть его, сталинский, сокол, – но в глубине была и не кончалась настороженность травленного зверя, и Звoryгин почуял, что Сталин не верит ему, прозревая в Звoryгине нарождающееся отчуждение, видя в нем, сквозь него миллионы солдат своей армии, зная, что и Звoryгин, и все миллионы воюют, как надо, служат Русской земле, как еще никогда не служил ей народ, но потом... В Ленинграде еще умирали от голода, Белоруссия и Украина еще были под немцами, а Верховный уже заглянул своим нечеловеческим взором в отдаленное «после войны» и увидел солдат-победителей, исполинскую, страшную силу, которой сам черт уже будет не брат, – как вернется в Россию она с верой в новую жизнь, с верой в то, что он, Сталин, все устроит иначе – без кнута и холопства, с верой в подлинную справедливость и братство, и

давно уже не о войне думал Вождь, а о том, что ему делать после победы со своими солдатами, чтобы его не раздавило тяжестью их веры.

– Ну что ж, приступайте, товарищ Зворыгин, к выполнению новой задачи. Собирайте под вашей рукой все лучшие кадры. Полагаю, что штаб ВВС вам окажет всестороннее содействие. Я советую вам быть настойчивее в требованиях. Лучший полк должен быть оснащен самой лучшей техникой, вооружением и боеприпасами. То же самое касается обеспечения вас продовольствием, амуницией и бытовыми условиями. Кстати, как у вас дело обстоит со снабжением?

– Снабжение хорошее, товарищ Сталин. Можно сказать, великолепное. Неудобно вот даже перед всеми другими родами за такие харчи.

– Неудобно пусть будет тому, кто свой хлеб получает и кушает даром, – отмахнулся Верховный и начал выбираться из кресла, подымая Зворыгина, всех, подскочивших, как варом охлестнутые, догоняя и перегоняя Верховного, распрямляясь, вытягиваясь до того, как он сам распрямится. – Ну а ты – заслужил!

И увесисто шлепнул своего летуна по плечу, проварив до нутра: обожающая благодарность качнулась в Зворыгине, всплыв из каких-то донных отложений родовой крестьянской памяти, перегняя столетий, в течение которых двенадцать колен его предков бесхребетно сгибались и валились в дорожную пыль перед маленькой крепконогой лошадкой и лисьим малахаем монгольского сотника, замирали во фрунт вдоль пути золотой кавалькады, круглоглазо лупясь на схождение благодатного пламени самодержца российского, и Зворыгин сейчас же не простил себе эту влюбленно-холопскую дрожь, понимая, почуяв: Верховному нравится вызывать в человеке эту страстную дрожь обожания, нравится – заглянуть человеку в нутро и достать его хлюпку от благодарности душу.

– Ну а может, вы лично, товарищ Зворыгин, нуждаетесь в чем-то? Ваши близкие, ваши друзья? – *Попроси без стеснений! Желание есть? Невозможное, как воскрешение из мертвых? Сделай мне одолжение – проси чего хочешь!*

Вождь смотрел ему прямо в глаза, видя, что все родные Зворыгина в мерзлой уральской земле, зная все о зворыгинском раннем сиротстве под детдомовским розовым светоносным плакатом «Счастливые рождаются под советской звездой!», и, быть может, ему надо было услышать от Зворыгина именно это – молчание. Чтобы он не спросил: «где мои?», никогда не спросил: «почему?» и «зачем?», не спросил даже: «где их могилы?», целиком, навсегда осознав, что вопросов таких вообще нет в системе измерений Верховного.

– Лично в чем-то нуждаться буду после войны, – выдал он заводское изделие ширпотребной штамповки, ходовую, вмененную каждому истину, но сейчас это так прозвучало, точно он не нуждается в вышней согревающей милости, точно лично Верховный ничего ему дать для дальнейшего, большего счастья не может – все свое он, Зворыгин, взял сам и живет красотой боевого полета в никому не подсудной воздушной свободе.

Он смотрел машинисту Истории и хозяину страшного времени, человеку из старой, поношенной кожи в глаза, неотрывно смотрел все огромное это безвоздушное, сердцебиенное время, и глаза их, встречаясь, говорили друг другу много больше, чем все их слова, и немного не то или даже совсем уж не то, что Верховный и воздушный солдат его армии произносили. Глаза «Самого» говорили, что он верит всему, что Зворыгин сообщает ему о текущем положении дел на воздушных фронтах, что Зворыгин воюет как надо и что надо воспитывать на примере Зворыгина новых, желторотых еще летунов, но что он также знает, что Зворыгин – кулацкое семя и уже в силу этого нет в нем, Зворыгине, цельного, безраздумного, беспрекословного обожания Партии; что Зворыгин строптив, своеволен, никогда не признает оглобли, но он, мудрый Сталин, хорошо понимает, что дикий, не признавший хозяина сокол быстрее летает, бьет добычу точней, чем обузданный, прирученный гнездарь.

Глаза же Зворыгина не то чтобы прямо говорили всю истину, но конечно же скрыть не могли, что он знает, что он для Верховного навсегда под сомнением, так же, как и любой из отмеченных и облаканных русских военного времени; что он видит и слышит, как Вождь то ласкает, то давит словами и голосом то одного, то другого наркома и маршала и что страх постаревших за час на полжизни людей ему нравится... Да и глупо, смешно применять слово «нравится» к обращению сталинской крови: ощущать свою силу, значительность каждого своего шевеления пальцами, бровью, зная, как безотвально ловят каждое слово его, каждый жест все вот эти наркомы и маршалы, заставляя их угадывать истинный смысл своего невнимания, хмурости, пренебрежения, стариковского даже кряхтения и кашля, подавая надежду, перед тем как убить, и давая вздохнуть, захлебнуться восторгом «прощен!» на качнувшейся виселичной табуретке. Глаза же Зворыгина выдавали, что он незнаком с этим страхом, что потребности что-то угадывать в отношении себя по движениям Верховного у Зворыгина нет, быть не может, и что этому вот сухорукому старику надо думать о смерти, о минутности силы своей – да и думает тот еженощно об этих вещах в одиночестве. И Верховный конечно же видел все это в глазах у него, отпуская его со словами:

– До свидания, товарищ Зворыгин. Мы будем за вами следить.

Ушел он от Сталина как во сне. И не мог понять, где он, – стоя под сине-черным, беззвездным, несказанной какой-то светосилой наполненным небом, видя перед собой смутно-красную неприступную стену с утонувшими в черной непрогляди зубцами. И не мог сам с собою ужиться, зажить в окончательном, цельном понимании, кто же он – этот вот пожилой человек в старом френче, воплощение, источник, причина мирового порядка на одной шестой суши от Полярного круга до туркменских пустынь. Не этим ли умом был выношен план создания новой страны, не этой ли волею было разогнано великанское переустройство зворыгинской родины из деревянной, черноземной, соломенной, лапотной в нестигаемо и непреклонно железную – от сгоревшей во мраке ледяной искры замысла до алтарного зарева сталелитейных махин, непрерывного тока чугунного пламени, до всемирного рокота беспримерных по мощи турбин гидростанций? Разве не этой волей были слиты воедино все таланты и воли двухсот миллионов и направлены на освоение беспредельных степных и таежных пространств, овладение реками, покорение неба? Разве же не под эту власть – за три пятилетки! – совершен был рывок от гривастых живых тягачей, деревянных борон и округлых движений жнецов к самолетам? Не эта ли сила дала Зворыгину больше, чем все, – то одно, что ему было нужно для подлинного бытия, для его самоосуществления, – крылья?

Ничего же ведь не было бы в его жизни, появившись он на свет под другой, не советской звездой, будь зачат он на два или три пятилетия раньше. И вот так бы и прожил он всю свою молодость в неизбывной и неизъяснимой тоске по простору высотному, и никто не сказал бы над его головой, надо всеми крестьянскими головами в России: мы зовем вас туда, нам нужна ваша сила и тяга наверх, может каждый, кто хочет и кому от природы дано, обитать теперь там, на воздушной свободе. Никогда не увидел бы он фанерный биплан наяву, а потом – краснокрылый, величественный, совершенный по стройности и чистоте, перешедший на марки, открытки, плакаты самолет «Рекорд дальности», совершенно секретно построенный для перелета через Северный полюс в Америку. Никогда не увидел бы он на заводе «Серп и Молот» большого плаката с начертанием, ударившим в сердце, оборвавшим и вновь запустившим его с новым смыслом: «КОМСОМОЛЕЦ – НА САМОЛЕТ!!!» Ясноглазые и бело-зубые парень и девушка в одинаковых шлемах и летных очках простирали вдаль руки, указывая на стремительный очерк абстрактного, неизвестной породы биплана, и в глазах их плескалась живая вода – вышину они пили, не в силах ни насытиться, ни оторваться.

Он пахал на железном заводе подручным сталевара мартеновской печи: раскидывал летки, выпуская из огнеупорной утробы стальную желто-рудую кровь и малиновый шлак, выскребал закозлевшие чугуном желоба, выходил в рекордисты – и ринулся, как кобель за

потекшею сукой, на Ходынское поле: вот, вот я! тут написано, нужен вам каждый. И бегал каждый день после смены куда указали – за Петровский дворец авиаторов, пешкодралом двенадцать километров в Центральный, преподобного Чкалова, аэроклуб.

Пообедавший ячневой кашею с каплей машинного масла, забывал голод хлеба, за смешной школьной партией страхась не нажраться иным – требухой самолета, матчастью, умным хаосом движущих сил и нагрузок, обращаемых собственной человеческой волей в единую скоростную летящую, петлевую, качельную, винтовую, падучую жизнь.

Колокольный бой сердца, паровой молот крови, обессиливающий стыд покусения на первый отрыв от земли, по убожеству и дерзновенности будто бы равный посягательствам первых строителей аэропланов, махолетов на мускульной тяге, птерозавров, летатлинов из китового уса, сыромятных ремней, кропотливо нащипанных перьев, красноталовых прутьев и шелка. Проскочила под пальцами искра, запуская в щенке вечный движитель. «Так, от себя ручку с плавностью, газ...» – повторял он немим говорением в сидячей молитве... И какой же приимчивой стала через несколько жалких мгновений штурвальная ручка и какою податливой, преданной сделалась через несколько месяцев. Перестав коченеть от макушки до пяток, он держал ее, как виноградные пальчики, чувствуя, как ничтожное телодвижение передается машине, как оседланной лошади, девушке, что идет с тобой рядом в настрое «не смей – значит, можно», так что кажется, только подумаешь, а машина сама уж скользит на крыло.

Даже контур открытой кабины сбоку выглядел лункою для помещения яйца, из которого должен был вылупиться ошалелый птенец. «У-2» был машиной чрезвычайно послушной, бесконечно прощающей все прегрешения юным рукам и мозгам: затащить ее в штопор можно было лишь силою, ровно как бугая-пятилетка или, скажем, пугливую лошадь, не идущую в быструю и глубокую воду, и с диковинной легкостью тут же из штопора выйти – стоит лишь отпустить прикипевшую к пальцам самолетную ручку.

А потом появились на Тушинском поле *куницы* – настоящие, невероятные в темно-синих своих гимнастерках с красноталовой «курицей» на рукаве.

Он крутил черта, как только мог, обжигаясь стыдом, представлением, как грязно у него все выходит: как под церковью с длинной рукой христарадничал – вот как; ставил дыбом машину, как лошадь на полном скаку, выбирал рукоять на себя до упора и резко, всею силою давал одновременно левой ноги и штурвальную ручку в правый крен до отказа, и земля вместе с белыми облаками над ней начинала навстречу ему завораживающее и, казалось, неостановимое круговращение. А когда перестала трясти «кукурузник» земляная шершавая дрожь и ступил он на новую землю, показалось: стоит под смеющимся небом один. Кто-то кликнул его, словно ткнув топором по колоде, и Григорий сорвался на клич, ровно как безголовый петух, – прямо к этим матерым героям, увлеченно и весело выбирающим из своих синих пилоток переспелые вишни.

Человек с розоватым рубцом от ожога на смуглом горбоносом лице, смоляной шевелюрой и рубиновым ромбом в петлице смотрел на него непонятно-насмешливо, с безучастным и хищным прищуром утомленного златоискателя, все уже про Зворыгина бесповоротно решив, как хозяин про слепого кутенка, беззащитную жалкую малость в налитом водою ведре:

– Ты чего добивался, скажи? Вас чему тут учили – поскорее машину угробить?

– Моноплан из нее хотел сделать, – повела ему губы волчоночь злоба. – Может, тогда быстрее полетит.

– Ты смотри-ка, еще огрызается. Остроумный нахал.

– А вообще ничего так мальчонка барахтался.

– Если бы кое-кто под Валенсией так вот барахтался, – обожженный комбриг заглянул в то горящее, в чем побывал, – то сейчас на обеих своих бы ходил.

И только тогда он, Зворыгин, увидел увечья «испанца», утаенные под темно-синими бриджами и начищенным хромом сапог: одна нога была прямой и мертвой, как лесина; перебитая правая криво срослась.

– Пилотировать должен был плавно, а он рвал машину, как Тузик, безо всяких пустых мерехлюндий: мол, позвольте мне вас потревожить. Грязно, да, но зато без тяжелых раздумий в долгих паузах между фигурами, – говорил о Зворыгине, как об умершем, не присутствующем здесь человеке. – Так, фамилия ваша... Зворыгин. – поглядел на Григория, как на полено, которое брался пообтесать. – Что же, будем знакомы. Радилов. – Оказался тем самым Радиловым, «генералом Мурьетой», матадором воздушной корриды, наконечником той заревой истребительной силы Советов. – Ну, пойдешь к нам в военно-воздушную школу? Вопрос риторический?

Полетел – за своей новой кожей, к настоящему, первому своему истребителю, «ишачку» с бочковидным упитанным, зеленым, как трава у корня, фюзеляжем. По сей день благодарно оскальзывает глазом памяти эту машину, уж такую смешную теперь, и себя самого, распираемого молодыми спесивыми соками, в темно-синем сукне с голубыми петлицами, на отлете держащего в двух пальцах шайбу формового мороженого, чтобы не запятнать ни единою каплей свое соколиное великолепие. Что такое в сравнении с ними, курсантами, были гражданские парни и даже офицеры наземных родов, что такое – все их анекдоты, парадоксы в суждениях, волейбольная прыть и пловцовские подвиги по сравнению с прямым, немигающим взглядом почти бирюзовых, особенно ценимых в авиации глаз, по сравнению с презрительно-утомленно-скучающим видом «я коснулся земли ненадолго, и если б не девушки, ничего бы вокруг любопытного не было», по сравнению с движениями рук, изображающих невиданный полет, по сравнению со сказанным доверительно-просто: «Скоро я уж увижу далекое небо, и мне, может быть, предстоит там погибнуть, но знаете, Зина, если я и жалею о чем-то, то только о том, что никогда мне не увидеть вас».

И все это дала ему, сироте и отребью, Советская власть, научив его грамоте, счету, всему, без чего никакого Зворыгина нет. И теперь, отличенный и призванный в Кремль, он почти что поверил: вот место, где про них знают все, справедливо решая, к чему каждый русский пригоден. Но чем дальше он брел под уклон от кремлевской стены, слыша голос Верховного, тем все больше с самим собой было размирия, тем упрямей топорщились, пробивая туман его личного счастья, вопросы в башке: а куда подевался перед самой войной и уже не вернулся Радилов-Мурьета? А Смушкевич, а Косарев, а Шушаков? Все герои Испании и Халхин-Гола, обрученные, венчанные с краснорозетной машиной? Выжгли их имена, стерли лица, оставив пустые овалы на больших групповых фотографиях. Для чего было сделано так, что на 22 июня в воздушных полках не осталось почти никого, кто бы видел живой «мессершмитт»? И в полки, корпуса присылали командирами кавалеристов, «Тпру, Зорька!», и учились они убивать, переярки, щенки, друг у друга, на примере своих закадычных дружков, обрывавшихся в штопор и врезавшихся в землю горящим смолем? Неужели дешевле не могли закупить безупречность расчета и точность удара, чем за стольких убитых своих?

Значит, высшая сила, окруженная красной зубчатой стеной, не только могла ошибаться, разделяя всех русских на чужих и своих, но и прямо... мутился рассудок, отказываясь думать об этом расточении живого человеческого богатства нашей родины со скоростью несколько сотен исчезнувших в сутки, словно мало нас каждые сутки теперь убивали железные немцы.

Быть может, если б эта сила не коснулась так рано и так тяжело его собственной жизни, то сейчас он, Зворыгин, оставался бы цельным, как железный кусок, в убеждении, что Сталин и Партия ошибаться не могут, что не сам он, Верховный, не сама она, Партия, так все устроили, а какие-то их низовые нечистые руки и очи, дознаватели и трибунальные тройки на отдельных несчастных местах – по своей личной низости, из своей жадной тяги к наградам и сытным пайкам, от всесильного страха лишиться привилегии жить высоко над землей,

вдалеке от повального фронтового покоса или, может, из нищенской зависти к чьей-то природной, исключаящей равенство силе. Подл, слаб человек, обрядившийся в форму людей государева слова и дела, но сама она, высшая сила, обязательно выяснит правду потом, оправдает, признает всех напрасно загубленных русских своими, как сейчас самоличным обжигающим сталинским рукопожатием признала Зворыгина.

Уходя от кремлевской стены, он разматывал всю свою 28-летнюю жизнь от героической звезды до истока, погружения в мягкое, золотое, печное беспамятство бессловесных младенческих лет, повторяя изгибы того, что зовется судьбой.

Он, Зворыгин, родился на заре революции, в черноземной степи, в многолюдном богатом селе под Воронежем. По другим деревням о Гремячем Колодезе знали: река, родники, по которым – название, знаменитая конская ярмарка и большая высокая деревянная церковь. Баснословных тех торжищ с цыганами и ученым медведем, бьющим лапою в бубен, с жеребцами, как в сказке, и печатными пряниками увидеть самому ему не привелось: мужиков, что пахали и сеяли, «всех погнали далеко на закатные страны воевать за царя», и коней всех забрали и угнали в Галицию, мужики большей частью домой не вернулись, и хвастливые их урожаи исчезли, а вот церковь, в которой крестили его и называли по святам Григорием, так же немо и грозно возвышалась над скопищем изб, далеко отовсюду мимоезжему видная указующим в небо перстом колокольни.

Он не помнил ожога крещенской водой: как орал во всю мочь, безответно, неистово требуя, чтоб его возвратили в знакомые добрые руки, упираясь, противясь всей своей изначальной ничтожною малостью погружению в купель, ледяную, как прорубь, но порой то мгновение его бытия становилось такой осязаемой явью, словно только тогда и могла озариться единственным светом душа, что доселе беспамятно, слепо спала в одеяльной глуши, в материнской утробе, и задолго еще до возможности проявления собственной воли он почуял себя чьей-то малой узаконенной, усыновленной частицей – беспредельной крещенской воды, беспредельного воздуха.

Сон о режущем, жгучем вхождении в поток был живуч: так, быть может, безмозглая рыба всю жизнь помнит место, в котором возникла из икринки когда-то, и сплавляется вниз по течению к месту рождения, смерти и нереста.

Хорошо он запомнил позднейшее: поднебесную высь ясного купола, бородатые лики святых, неотступно-угрозно смотревших в него одного птичьими-зоркими злыми глазами, и рокошующий голос огромного дьякона, заставлявший людей неотрывно вбирать: «На руках возьмут тя, да не когда преткнеша о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия». Взгляд его убегал от суровых очей стариков, упираясь в распластанных в голубой синеве шестикрылых таинственных птиц с человеческими юными, как бы детскими лицами, – неустанными и безуильными махами крыл птицы эти держали в заоблачном небе престол Саваофа. «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!» – возглашал дьякон так, словно гнал из-под купола всех богомольных старух и детву. А еще на церковных картинах были воины в красных одеждах и с могучими иссиня-черными крыльями. «Этот, с крыльями, – кто? И с копьем?» – «Архангел Михаил, архистратиг небесной рати, – разъясняла украдкой бабка Настасья – таким голосом, словно говорила о старом соседе, который представился раньше, чем Гришка появился на свет. – Это он Сатану и все его войско осилил».

Старики и старухи с кривыми от работы мослами, построжавшие бабы в чистых белых платках недвижимо чего-то под куполом ждали, одним видом своим воспрещая детве шевелиться: их молитвенное онемение, окаменение были прямо противны ребяческой тяге к разбегу, разлету, расширению пределов знакомо-оглядного мира. И Гришка томился ниже тоненьких жалостных свечек; слух и разум его погасали, окованные безразличием, и не слышал уже ни медово-тягучего голоса дьякона, ни разноречивого бормотания паствы, вовсе неотличимого от гудения мух в темных пыльных сенях, и казалось ему, что далекий, вечно

недосягаемый купол с размахом на нем древних божеских рук не пускает его в настоящее небо, закрывает ему настоящий воздух и свет.

Небо было для Бога. В небе жил только Бог со своими несчетными ратями ангелов. Так ему говорила согбенная от работы и старости бабка Настасья, когда забирался к ней слушать старинные сказки на жаркую белогрудую печь, сердце дома и движитель жизни. Наступление Судного дня предрекала старуха. Наступит на земле великий голод, и вода в реках станет горька, и будут по синему небу летать железные птицы с чугунными клювами, людей клевать, как тыквы на бахче, и будет безумие народа, и пойдет брат на брата и сын на отца.

Двенадцать колен крепостных, бесконечно покорных и безмерно живучих Зворыгиных жили тут испокон, гнули спину на бар – родовитых Хилковых, – терпеливо пахали, кропя своим потом помещичью землю до вороновой черноты, жали, веяли, сеяли, побирались и строились после нашествий поганых, возвращаясь из леса к родимым почернелым печам, возвышавшимся на пепелище; мужиков забирали на цареву войну, умирали бесследно и молча.

Род Зворыгиных бабка Настасья личным опытом помнила с прадеда Гришки – Пантелея Прокофьевича: этот дед Пантелей про прозвищу Копыто за ужасную силу удара, которым укладывал наземь быка, был в рассказах ее наделен всеми теми чертами и доблестями, каковыми и должен, по-видимому, обладать легендарный богатырь-прародитель: великанского роста и в плечах – даже Гришкин отец поперек него с гаком уложится. Нраву был Пантелей необузданного: брякни слово ему поперек – задерет, чистый взвар, да и все, почитай, мужики в их роду перли в ту же породу, от того и фамилия их повелась – по прозвищу: Взварыкины. С Пантелея Прокофьевича, мужика домовитого, до работы охочего, цепкого, как матерый татарин-репей: рви – не вырвешь, и пошла о Зворыгиных слава как о крепких хозяевах, а потом – как о первых кремнях на селе. Пантелей прирезал десятины гулевой да целинной земли, подымал лемехами пласты вороного, сладко пахнущего чернозема, никого не щадил: сыновей гнал арапником в поле ни свет, ни заря; снох своих и жену по семь раз подымал еженощно – то скотине метать, то лошадам подмешивать, до надрыва внизу живота доводил, щепетильник: «Скотина доселе непоеная – чего ж ты глядишь, мать твоя сука?! Куда пошла метать из крайнего прикладка, мать твою в душу через семь ворот! Кому было говорено – не тронь?! Изведете мне самое доброе сено – чем быков буду потчевать в пахоту?!» Сам в одних штанах летом и зимою ходил, покуда до голого тела в заду не сотрет, скреб деньгу на плуги и косилки, скупал по соседям мерлушку, щетину, пеньку, прижимал их на каждой копейке, а потом уж и хлебную сыпку завел: с лишком тыщу пудов завозили, среди крестьянских подвод было не протолкнуться, в Семилуках, в губернском Воронеже продавал Пантелей золотое пахучее жито с приварком. А у деда Григория, мужа бабки Настасьи, было уж десять пар бугаев, два десятка коров, столько же жеребцов да полдюжины маток с Хреновского завода, «поросят и овечек – без счету». Гришкин батя, Семен Углежог, прозванный так за вороную масть волос да смуглоту, земляною работой себя не неволил: разводил племенных жеребцов; радость дикой свободы на полном скаку, смерчового пролета верхом или стоя в телеге была его сутью.

Справно жили, богато, но тут разразилась цареву война, а за ней – возмущение против царя в Петрограде. Двое братьев Семена волей Божией пали за Отечество в прусских болотах, дед Григорий преставился, потому что пришло его время, изработал могучее тело и захолодела в узловатых бугорчатых жилах бегучая, жадная кровь, став леденистой и тяжелой, как земля, добытая с пятисаженной глубины. Только старший Зворыгин, Семен, возвратился в Гремячий Колодезь с двумя солдатскими Георгиями на линиялой гимнастерке. Все богатство как веником с база смело, чистокровных донцов и орловцев забрала под седло новорожденная красная конница.

Но остался целехонек сложенный из матерущих дубовых кряжей, ошелеванный плахами дом, и когда за окном выпевала свою заунывную песню метель, ощущал Гришка крепость родного жилья: век не сточат его ни дожди, ни бураны, ни плесень с жучками.

Отец пошел в Конармию Буденного, ходил выручать осажденный Царицын, рубился на Донце, был ранен под Касторной – пока мать с малым Гришкой и бабкой Настасьей пробавлялись одной огородной картохой, щавелем да крапивой, – а потом возвратился в деревню и вгрызся в хозяйство родовой зворыгинской хваткой. Этот рослый, плечистый, угрюмый мужик с рубцевавшей крутой смуглый лоб меж бровей острой горестной складкой – поначалу для Гришки страшноватый, чужой – скоро стал для него человеком, по которому меряешь себя и которому хочешь во всем уподобиться.

В беззаботном, бездельном покое он не видел отца никогда, как не видел и квелым и стекшим в уныние: боронил, гнул колеса, точил лемеха, научал и его, воробья и щегла, всем ремеслам помалу. От отца пахло свежим ядреным навозом, смолистым лошадиным и мужицким потом, живительным духом оттаявшей бархатной зяби, пряным запахом свежего сена и прижженных полуденным зноем хлебов, черноземным здоровьем и силой. Григорий навсегда запомнил, как одною рукой тот натягивал вожжи, а другою вел плуг за чапыгу, как входил в зачерствелую, будто бы неприступно захрясшую землю наточенный нож, вылезал из-под лемеха иссиня-черный лоснящийся пласт, поворачиваясь набок, точно крупная сильная рыбина.

Он глядел на отца, понимая, что и он спустя время, быть может, до отца дорастет, и такую же мощью нальется его легковесное мягкое тело, точно так же окрепнут все кости лица – будут те же широкие скулы и выпуклый, точно выкованный подбородок. И отец тоже видел, что Григорий его повторит, что уже началось становление это, с каждым годом все резче проступают в сыновнем лице родовые черты, проявляются норы, хватки, и уже на растущего Гришку поглядывал с затаенной улыбкой любования и гордости, хоть и звал, как и прежде, воробьем и щеглом и еще не давал подержать под уздцы вороного их Орлика – яристого донского жеребца с раздвоенным кованым крупом и бешеным глазом, отлитого от кончиков ушей до раковин копыт как будто бы из собственного сердца и ничьей руки, кроме отцовской, за всю жизнь не признавшего.

Мать с бабкой – то в овине, то у печки с железными ухватами и кочергами; то вязали снопы, то метали тройчатками ворохи переспелой пшеницы и пряного сена. Он и сам, Гришка, скоро изведаль, каково это – всаживать вилы в упругий, неподатливый сноп втрое больше тебя самого, подымать его кверху нажимом на скользкую рукоятку тройчатки и одним махом скидывать эту шуршащую глыбу на вершину огромной, колючей, душно пахнущей хлебным теплом, все растущей к горячему изжелта-синему небу золотистой горы, чуя, как с каждым махом рвется что-то внизу живота.

И вот так протекали все дни – на делянке родительской зяби, с горящими от вил, ороговевшими ладонями, с дрожащими от переутомления ногами и полынной горечью в пересохшем обметанном рту. Для него это было благодатное время приобщения к земле, узнавания на ощупь всего того чувственного, из чего создан мир. Но порою он, Гришка, ощущал безразличие к жизни прикованных к черноземным наделам людей.

Зворыгинский двор – на отшибе, первым встал на пути у степного бурана, и уже за плетнем начиналась великая тишь бесприютных полей, глубина безучастного синего неба. За волнистую линию голых холмов утекала дорога; окаменевшая от зноя, она почти всегда была пуста и оттого особенно тосклива – звала, звала тебя туда, за голубую и неясную, как сон, недостижимую нитку горизонта.

Отчего так хотелось ему оторваться от узкой полоски обжитой земли и шагать по ковыльным, полынным, отливающим голубоватой сединою полям, забирая все дальше от дома, настигая, преследуя что-то недостающее, недоступное, как горизонт или солнце на

красном закате? И ничто ведь его не жалело в степи, не сулило ему материнскую ласку за краем. Степная земля была равной себе и воздушной пустыне над нею, здесь и вовсе как будто человека еще не бывало и вообще не должно было быть – никого отдаленно похожего на хозяина плуга, дровяного огня, колеса, паровоза, будильника, слова.

Неизбывная грусть – в безначальном молчании этих полей, все она объясняет: исполнинскую русскую лень, беспредельность терпения вкупе с недоверием к жизни и знанием, что никто не поможет, одержимость разбойной свободой и тоску по пригляду за тобой-сиротой, материнскому, что ли, призрению и небесному, что ли, отцу, неумную тягу за край, *в высоту*, в землю обетованную, Китеж, Царьград, чтоб спастись от крошечного одиночества там, где-нибудь за горами, за синими далями: разве может быть нашей судьбой только то, что нам дали там, где мы родились?

Сколько помнит себя, Гришка чувствовал равнодушие и неприступность, непонятную родность равнинной земли, неумолчный и властный зов ее неоглядных, незнаемых, дальних пространств, изнутри раздвигавший поющую клетку тонких маленьких ребер.

Шел и шел по горячей и мертвой степи, по гонимым сухим горьким ветром золотисто-опаловым волнам ослепительного ковыля, и, уже истощивший все силы, до горячего зуда исхлестанный непролазной овражной крапивой, с накаленной до звона башкой, безраздумно, покорно валился в ковыльное море. Замирал, слыша всем своим телом, как земля чувствует ток его крови, точно просит Григория кровь отворить, изойти, перетечь, напоить, и не мог перейти без остатка в эту жадную сохлую землю, целиком подчиниться ее темной воле, став еще одной жилкой в несмети одинаково – странно разумно – устроенных жилок, слишком жадный еще, слишком новый, любопытный и чуткий, чтобы стать, как трава, равнодушно приемлющая и палящее солнце, и ливни, и дыхание губительного суховея.

Он смотрел в неподвижное синее небо, то совсем нежилое, незрячее, то внимательно-строгое – лик, то пустынное, чистое, без единого блеклого перышка, то застроенное ввысь по куполу облаками немыслимо сложной, причудливой лепки: облаками – стадами, соборами, облаками – высотными ребрами павшей коровы... Неотрывно смотрел, выпуская на волю какую-то самую сильную, жадную, сокровенную часть своего существа и еще того не сознавая, что хочет полететь не одною душой, а телесно – обрасти не пером, а каким-то таинственным выносным костяком, создающим подъемную силу и тягу.

Когда Григорию пошел одиннадцатый год, появился в Гремячем Колодезе присланный из Воронежа уполномоченный – воевавший с отцом в Красной гвардии, как с плакатной картинкой сошедший, в перекрестных скрипучих ремнях, в раскаленно-малиновой кожанке, в островерхом буденновском шлеме с суконной звездой, кривоногий и рыжий Капитон Необуздкин. С Необуздкиным вместе приехала молодая учительша Рита Сергеевна – Необуздкину то ли жена, то ли «в блюде с комиссаром живущая», в обтерханной тужурке, огненной косынке, с мучительно-сосредоточенным лицом, красивым, но каким-то воинствующе-злым, и светлыми зелеными глазами, в которых было что-то от суровости иконописных бородатых стариков. Только время войны или верность великому делу налагает на нежные девичьи лица такую печать. Вот и Рита не просто учила стар и млад русской грамоте, а, иссохшая от недоеда, служила, пела как в алтаре, воевала за детские души с богомольным дурманом, с суеверной звoryгинской бабкой Настасьей, и если для бабки Настасьи со свержением царя все закончилось, Божий мир, Божий лад, то для Риты с ее Необуздкиным ничего еще не началось: позади оставалась вековая власть тьмы, впереди было царство разумных машин, просветлявшего знания, мировой справедливости, и такой была сила ее убежденности в этом, что нельзя от нее было не заразиться.

Без кнута и оглобли он, Гришка, впивался в привезенные Ритою книги и впитывал новые знания обо всем, что творилось за краем знакомого мира, набирался до самой покрывки, враспор, ощущая все большую хищную радость овладения счетом, письмом,

усильного прочтения по складам: «рабы немые...». На страницах казенной иллюстрированной книги по условным бесцветным полям запустения – волоча за собою зубцами борон заревое полотнище, нескончаемую самобранку с корпусами и трубами фабрик – неуклонно и неотвратно ползли трактора с исполинскими задними шестернями-колесами, с человеком в отчетливо прорисованном шлеме и огромных очках за рулем, и зачаточный жалкий рассудок Григория замирал над загадкою самодвижения машины, и хотелось уже не одних этих детских абстрактных картинок, а вскрытия, изучения всей утаенной под капотом железной и огненной жизни. Дирижаблей и аэропланов, все обводы которых говорили о том, что они СУЩЕСТВУЮТ!

Зачарованный этим неуклонно и неотвратно надвигавшимся миром, он теперь день и ночь был готов побираться и рыскать по крестьянским дворам, вымогая и даже воруя у темных хозяев дырявые ведра, чугунки, сковородки, корыта – объявила им Рита, что из этого хлама и лома в Москве будут строить рабочие аэроплан, и они, пионерский отряд, могут сделать свой вклад в покорение воздушной стихии Страною Советов, и грядущей весной этот аэроплан прилетит и закружит над их обомлевшим Гремячим Колодезем – может быть, даже сядет на выгоне, и тогда сможет каждый увидеть в упор и потрогать его двухэтажные крылья и винт.

«Прилетит, прилетит... – проскрипел с беспредельным неверием и презрением даже отец, поглядев на него из болезненной, сострадательной дали, когда Гришка начал выпрашивать у него стертый лемех с английского плуга и железные обручи от щелястых, разошедшихся бочек. – Может, и десятины нам вспашет. Лошадиных-то сил, чать, немерено – от земли отрывается. Вот его и запрячь в борону-то».

Только им, пионерам, да Рите было дело до аэроплана: у селян же – косьба, молотьба... глаз от глянцевого черной борозды своей не подымали. Подходила пшеница, выколашивалась, зацветала, тяжелело в покрытых золотой жаркой пылью колосьях зерно, наливалось пахучею сладостью. Миновала, как не было, проголодь, разрешили народу возить в Семи-луки и там продавать перекупщикам хлеб, на дворе у Зворыгиных появилось две пары быков, и Григорий уже не задумывался, скоро ли у них кончатся в доме пшено и мука, хватит ли завтра дров и кизячных брусков накормить белогрудую печь, что стояла, как каменный дом, посреди деревянной избы, сердце дома и движитель жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.